

Е Л Е Н А

П И С Т О Л Е Т

К Р Ю К О В А

Елена Крюкова

Пистолет

«Автор»

2013

Крюкова Е. Н.

Пистолет / Е. Н. Крюкова — «Автор», 2013

ISBN 978-1-291-47287-5

Молодость, революция, горе, счастье, Россия. Нынешний день России – глазами ее молодых. Потерянное поколение? Или те, кто делает вызов времени, власти, судьбе? Кузя и Бес. Культпросвет и Белый. Их друзья и их враги. Откуда они пришли? Куда идут? На асфальте окурки. Огонь в глазах. Пистолет в кармане. Пистолетными пулями сшита то черная, то золотая ткань жизни. А у дверей старой мастерской – мачеха Беса, что шепчет горько: ну когда вы наиграетесь в вашу страшную игру, взрослые мальчики...

ISBN 978-1-291-47287-5

© Крюкова Е. Н., 2013

© Автор, 2013

Содержание

Кэт	6
Кузя	14
Пистолет	19
Зубр	25
Нью-йоркский аэропорт	28
Смерть Кота	36
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Елена Крюкова

Пистолет

© 2013 Елена Крюкова

* * *

Кэт

Меня зовут Кэт. Я тут квартиру снимаю. Ее смешно назвать квартирой, конечно. Так, халупа. Полуподвал. Три комнаты, а крошечные, как спичечные коробки. Я вообще-то курю, можно, я закурю?

Спасибо.

Я люблю вдыхать дым и на него смотреть. Как он разводами над головой ползает.

Тут хозяйка – бабка одна, ее родня увезла в деревню. Она там живет, а я родне деньги плачу. Деньги небольшие. Хорошо я договорилась.

Старый комп у меня, да? Смешной? Мне хватает. Мальчишки когда курят, паразиты – в монитор, в дырки, пепел стряхивают. Дураки.

Мои пацаны! Я их о-о-о-очень люблю, о-о-о-очень... Вы не думайте, я с ними не трахаюсь. Хотя кокетничаю! Ну какая же женщина...

Брысь, Ларсик! Кот какой, идиот, со стола кусок упер!

Почему – Ларсик? А, это! Ларс фон Триер – так кота зовут. Обалденный кот, правда? Я рада, что вам нравится. Роскошный котик! Смотрите, какая мордочка! И гладить можно, где угодно, и не укусит. Смотрите, повалили его набок, и живот ему, паразиту, чешут, и лапки сексуально так раскинул, у, сволочь! Красотуля.

У, дым летит ему в нос! Не любит. Ну, иди! Иди вон, Ларс! Вали в форточку! Бр-р-р-рысь! Открыта.

Смотрю на себя в зеркало – сигарета в зубах мне идет. Я бы могла запросто в фильмеце клевом сняться! Вы не находите? Да нет, не в сериале сраном! Именно – в фильмеце классном, об этом речь и идет.

Вы думаете – поздно мне?

Вы на что намекаете?

На то, что я... типа – в возрасте?

А плевала я. Мои мальчики моего возраста не замечают. Они мне так и говорят: Кэт, ты клевая чувиха! Ты – наша!

А этого, между прочим, добиться надо, если тебе говорят: «ты – наша».

Потому что люди все друг другу – чужие.

Все! Всегда! Везде! В любой стране!

Стойте. В окно стучат!

Кто там?!

А, это вы! Мои родные! Суслики! Приве-е-ет!

Привет, Зубр! Ты вроде бы еще порыжел. Ба, да ты не один!

Глядите-ка, все за батареей в подъезде прячутся! В прятки со мной играют! Хотят Кэт обмануть, мол, мало их! А они – вон, все привалили!

Давай, валяй, Бес, ну что ты встал! Долго же ты за сигаретами шлялся! И всех их, заметь, все-е-е-ех! – подцепил! И сюда приволок!

Ну, ты тут, у меня под крылом... это понятно. И Культпросвет – тоже свой. А эти, эти-то откуда взялись? Ах, вы договорили-и-ись?! Чтобы, значит, Кэт сюрприз устроить?! И что, вот так, как снег на голову?!

А, вы захватили с собой!

Да ну, так много! Зачем так много! Мы уьемся.

Садитесь, садитесь! Сейчас картошечки... Быстро! В одну секунду!

Бес, сыграй пока новое. Знаете, пацаны, у Беса, кроме шуток, такие песни новые классные! Давай, вот. Если текст наизусть не помнишь – вот тебе бумажка, это ведь ты стишки накарябал?!.. Мне нравится, как тут у тебя: «в грязи, в пыли – беженец с Земли... А-а-а-а!»

Вот «а-а-а-а!» особенно нравится...

Ты!.. не замахвайся. Я сама тебя ударю, если надо! Но мне сейчас не надо.

Ну да, я поняла, ты в шутку...

Тише! Слушайте! Поет...

А я сейчас картошечку... струг-струг, шелуха из-под ножа, летит, как наша жизнь просто... И так же – в мусорку – швырк! А потом сожгут. Или – на свалку. И под небом будем гнить.

Под небом га-алубым... есть город за-а-алатой...

Старая песня. Может, она уже умерла. Бес, свою пой!

Нет, тихо... «Беженец с Земли» – песня называется...

И мы все тоже, мы все, понимаете, все, мы – беженцы – с Земли... Мы все когда-нибудь повесимся. Или застрелимся. Или нас в драке убьют. Или – в тюрьме расстреляют. Но мы никогда, никогда не доживем до старости. Мы – умрем молодыми. Дураки, что вы морщитесь?! Ну, еще заплачьте давайте! Ведь это так здорово – умереть молодыми! Не дожить до морщин поганых! До пуканья на всю Европу! До седых волосенок! До шарканья ножками гнутыми! До полного маразма! Вы ведь не хотите дожить до маразма? Ну вот и я тоже не хочу.

Я, Кэт! Думаете – кликуха? Нет! Меня мама так называла! Еще в розовом детстве.

Стоп, дайте затянусь. И помолчим немного давайте.

А теперь снова картошечку чистить. Эй, кто со мной? Кузя, давай бери нож! Лентяй! Не лентяй? Тогда валяй! Вперед!

Белый, вон грибы! На ниточках висят, над плитой! Воду в кастрюлю налей, в воде размочи.

Блин, как хорошо! Паук, открой пивка! У меня руки грязные, в картошке, ты мне горлышко поднеси, я из рук твоих выпью... вот так! Уф. Спасибо. Освежил. Пиво без водки – деньги на ветер.

Ух ты! Гришка! Гляди-ка, что принес! Селедка! Вру, скумбрия. Скумбрия, да? Блестит, как нефть на асфальте, разноцветно.

Культпросвет, «Черный дождь» поставь! Эту... мою любимую. «Зверь ответил мне молчаньем...»

А мы все, люди, кто мы? Разве – не звери?

Зверь – это каждый из нас. Это – в нас.

Что толку, что мы все говорим словами, языком балакаем.

Сигарета... Бес, дай баночку!.. тьфу!.. Гришка, вытащи, будь другом, и огонька дай. Сигарету – в рот мне всунь... бла-го-да-рю... и огня... я сама прикурю... м-м-м-м!.. вкусно. Вкусней, чем грибной суп!

Что, Бесенок, так глядишь? Думаешь, Кэт наркоманка?! До наркоманки мне далеко. Я вот пьянею от песен твоих! Давай, давай, не прекращай, играй! «Холодная война, и время как вода...» Что ты, это же не твое! Это «Би-Два». Ты свое давай!

Все! Почистила. Белый, вода уже кипит? Отлично! Луковицу дай! Вон, под табуретом, в мешке!

Когда лук крошу – все время плачу... плачу и плачу... и остановиться не могу...

Меня любовник бросил. Он старше меня на тридцать лет был. Или даже больше, на сорок. Короче, старик. Но классный дядька. Такого папика поискать. И вот я, типа, не могла это пере-

жить. Хотела покончить с собой. Ну, слабачка. Ебарь бросил – это же не повод, чтобы ручонки на себя наложить. А я вот захотела. И – пошла топиться.

Прихожу на мост. На мост через Оку. Высокий, между прочим, мост. Сорок метров вниз лететь. Серая такая вода, стальная, блестит, как железо, и день серый. И на душе у меня дико, жутко. Вообще все херово. Подошла близко к перилам. Машины мимо несутся! Трамваи гремят! А я ногами на железяке какой-то, с заклепками, стою, и мост подо мной трясется. Сейчас, думаю, ка-ак сигану! И вниз гляжу. И голова закружилась. И...

И...

Погодите, затянусь...

И подо мной мост поплыл, как лодка! А вроде на попятный – стыдно. Самой себя стыдно. И жалко. И все в башке плывет к черту. Думаю: надо быстрее. Перевалилась животом через перила. Уже ногу перебросила. Уже – задница перетягивала, чувствую, сейчас начну падать, вот... А руки-то, руки – железо холодное – хватают... Пальцы как крючья сделались, как когти...

И вдруг меня – сзади – кто-то – р-р-раз! – и на себя! И тянет!

И так матерится, так!.. я в жизни никогда не слышала, чтобы кто-то так матерился, ну никогда, никогда...

И орет: ну ты, девка, ты!.. Дрянь, сволочь, гадина, ну и еще по-всякому, что я тут буду перед вами материться, что ли?.. короче, оглушил меня совсем! И плюхнул на железяки эти клепаные! Животом! Я так ударилась! Думала – он мне все потроха отбил.

Лежу без движения. Он меня перевернул – животом вверх.

Лежу, как мяса кусок!

Он мне орет: ты, блядь, где живешь?! Я тебя домой отвезу! Ну! Говори!

Ну я ему и говорю: на Гребешке.

Слышу: тачку тормознул. Шоферу что-то злое бормочет. Потом ко мне шагнул. Меня под мышки взял, и под коленки. Я-то не такая уж легкая. Кость у меня широкая. А он меня поднял, как делать нечего.

Лежу на руках – у мужика? Какое там! У парня! Пацана!

Гляжу ему в лицо – лет шестнадцать ему, что ли.

И мысли скачут: ну вот, то переросток, то недоросток. То старик, то молокосос.

И он мне в рожу глядит. И улыбнулся вдруг. Так тепло. Только что матерился гадко, а тут – улыбка... такая...

Гляжу: раскосый. Татарин, что ли? Или казах? В общем, чучмек какой-то. Из смерти, короче, за шкуру, как кошку, меня выволок.

В тачку кинул, на заднее сиденье, как мешок. Сам к водиле сел. «На Гребешок! – говорит. – Живей, худо ей!»

Водила поехал.

Слышу, бросил пацану моему: «Че это она у тебя, до усеру напивается? На ногах не стоит? И часто ты так ее возишь? Да набей ты ей морду один раз хорошенько!» – и все в таком роде.

И пацан, слышу, водиле отвечает: да, типа, надо бы, конечно, поколотить ее хорошенько, чтобы неповадно было! Бабы, они кулак понимают... ну, прямо валит про меня внаглую, будто я его девка и напилась в дымину.

Едут так. Болтают. Сперва про меня. Потом про что-то свое. Я уже не слушаю.

Перевариваю, как это я жива осталась.

И запоздалый страх такой взял. Забрал. Дрожь по мне пошла. Заколыхала всю.

Я там, на сиденье заднем, лежу и говорю: эй, ты, дай закурить.

И он, нахал такой, оборачивается ко мне, сигарету из пачки выбивает, мне протягивает, и зажигалку мне бросает, и я ее ловко так ловлю, – и слышу, он водиле цедит сквозь зубы:

представляешь, достала баба, смолит и смолит целый день, у меня все легкие уже прочернели, я сам столько не курю, сколько она.

И я кручу колесико зажигалки, кручу, кручу, – а огня все нет, все нет и нет. И сигарету в зубах держу, и смеюсь беззвучно, колыхаюсь вся, как студень.

И р-р-р-раз! – как брошу ему в затылок зажигалку! Да как заору: ты, сучонок! Не можешь никогда мне зажигалку новую купить! Купи сегодня целый мешок! Чтобы я – так – не мучилась!

И он захохотал, как заполошный, и кричит через смех, просто икая от смеха: куплю! Куплю! Куплю, еп твою мать!

А водила крутит головой, тоже хохочет: весело вы живете, ребята, ой, весело!

Так, со смехом, и доехали.

А когда мы добрались до двери, и я ключом в замке ковырялась, и в квартиру входили, – он за мной шел, как теленок за коровой, и молчал, не взмукнул даже.

Встали мы друг против друга в комнате. Лыбые лампочки с потолка свисают. Сырые потеки по стенам. Табаком воняет. Мои шмотки по стульям валяются. На старом шкафу – старый утюг, в который еще наши бабушки угли горячие насыпали, чтоб гладить. Старый самовар на подоконнике: его еще щепками растапливали, – не электрический. Короче, бабушкины сказки. И в пепельнице – окурки мои. Полна пепельница напихана.

И он молчит. И я молчу.

И мы оба молчим.

«Ну, я пойду», – говорит он.

И уже шагает – уйти.

И я его за руку останавливаю.

А рука такая горячая. Как огонь.

Мальчонка, пацан такой еще...

«Куда! – кричу. – Куда ты пойдешь! Прямо, разбежался!»

И реву уже, и слезы ладонью размазываю.

Он оборачивается, слезы мне начинает сам ладонями вытирать. Горячими такими ладонями, детскими еще. Глаза раскосые блестят.

«Ну что ты, – шепчет смущенно, – ну нет, я не уйду... Давай чаю попьем? У тебя есть чай?»

Смирный стал вмиг. Присмирел.

Пачку сигарет из кармана куртки на стол выложил. Озирался.

Плита у меня газовая – двухконфорочная, дачная. Я ее резиновым шлангом сама к трубе подсоединила. Плиту художник один подарил. Милости ради. Я ему позировала. Голая лежала на топчане. В его мастерской, в Доме художника. Мерзла. Не стыдилась голяком, нет, ну ничуть! Ни капли! Как-то в мозгах никакой похоти и не было. Ни в мозгах, ни в брюхе! Не свербило, ха, ха! Но колотун у него в ателье, это да. Он после сеанса меня шобоном старым укрывал. И кофе мне горячий... ха-а-а, кофе в постель!.. Он за героизм мне плиту и подарил. Потому что узнал, что я на электроплитке готовлю. Чтобы мне за электроэнергию вообще не платить. А хозяйка не узнает, что тут у меня газ. У нее-то отключен он был.

Разве с хутора своего она когда сюда прикатит? Да никогда больше. Так и помрет там, на хуторе. А родне ее все по барабану.

Я газ зажгла. Он глядел, как я воду в чайник набираю. Потом выдохнул: «Как тебя зовут?» Я говорю: «Кэт». А он говорит: «А меня – Бес».

Вот так и познакомились.

Гришка! Возьми ложку! Попробуй суп! Ну как, грибочки размягчились уже? Разварились? Или еще нет?

Эх, чуваки... Грибной суп – это ж... это ж... это же ресторанная еда! Одна тарелка такого супа – в «Колизее» – или в «Золотой вилке» – знаете, сколько бабок стоит? Не знаете! То-то. Ну и не знайте!

Ну что... Мы чаю попили. С жесткими пряниками. У меня больше ничего пожрать не было.

Пока чай пили – молчали. А я думала, разговоримся.

Ему как рот варежкой заткнули.

Чашки пустые. Руки на коленях. Молчание звенит в ушах... как музыка.

И тут он мне говорит: эй, Кэт, а у тебя гитара – есть?

Есть, говорю, на твое счастье! Старушка такая, гитара эта. Небось, тридцатых еще годов, времен юности хозяйки. Ей под гриф щепки, карандаши засовывали, чтобы она строй держала, струны не спускали. Нахожу гитарку в углу, за ящиками и разломанными тумбочками. Беру, ему протягиваю.

И он начинает играть... И петь.

И тут меня прошибает. Я слушаю – и реву! Слушаю – и смеюсь!

«Да ты, – кричу, – ты же музыкант настоящий, Бес! Тебе же... на сцену – надо!»

Он замолкает на минуту. И опять начинает. Новую песню. И я понимаю: это он свое поет, собственное. Композитор, значит.

Ну вот. Попел. Гитару на пол положил. Она лежит... как женщина. Пацан сидит. Опять молчит. Будто петь умеет, а говорить – нет.

Сейчас, думаю, встанет, ко мне шагнет... лапоть будет...

Встал. И шагнул – от меня. К двери.

Я не останавливала уже. Иди, кролик, иди. Беги...

Перед самой дверью оглянулся. Глаза такие... как мальки в реке, играют.

Говорит: а можно, я к тебе приходить буду?

Вот так все это и началось. Сначала Бес приходил. Играл, пел, курил... Спал, пьяный. Проспится – что-то пишет на клочках бумаги, в карманы прячет. Иногда бумагу по полу разбрасывает, я подбираю, складываю. Еду ему сготовлю, покормлю. Надо же спасителя своего кормить иногда, ха, ха.

Потом стал с дружкой своим приходить. С Культпросветом. Ну, это кликуха такая. По-нормальному его зовут Илюшка.

Они мне компьютер приволокли. Старый. Может, даже с помойки. Экран пылает, буквы прыгают! Живем! Как белые люди!

Я им еду готовлю. Они иногда сами жратву приносят. Короче – коммуна.

Настал день такой... Я им говорю: что вы туда-сюда мотаетесь, оставайтесь, типа, ночевать! Жить, что ли, переспрашивают? И ржут, будто я что смешное сказала. «Да, жить!» – зло ору.

«А разве мы не живем?!» – как кони, ржут они.

Бесу отнюдь не шестнадцать оказалось. Это он просто так молодо выглядит. Юно слишком. Худенький, стройненький очень. А так ему – двадцать один. А Культпросвету – двадцать два. На год старше.

Меня они не пытали никогда, сколько мне лет и на сколько я их старше. Старше, младше! Херня все это. Главное – человек живой или мертвый. Вот это – главное.

А потом пришел Гришка. А потом появился Паук. А потом, однажды ночью, с улицы принесли Белого. Всего избитого. А потом появился Кузя, в черном костюме, с тросточкой, как Черчилль какой-то. Хромал. Ножка забинтована. Вывихнул, в гипсе была. Как ножка поправилась – вместо костюма – в камуфляже пришел. Я гляжу: ну ничего бицепсы у парня, если надо, хорошо задвинет. А так – ну просто маменькин сынок, английский лорд.

Что они делали все вместе, мои пацаны?

А ничего. Жили. Дружили. Курили. Пили.

Пели. Сочиняли. Влюблялись. Бросали.

Они были молодые, да. Молодые.

Сколько они еще пробудут молодые? Я что, предсказываю будущее, что ли?

Ну, как наш супчик? О-о! Как пахнет! Ресторан «Прага» просто отдыхает!

Кузенька, открой, пожалуйста, водочку. И налей мне ма-аленькую, ма-аленькую рюмочку. И знаешь – в холодильнике лежит старый, ма-аленький, завалышенький... огурчик. Ты его – на тарелочку, да и порежь. И посоли, посоли, не забудь!

А я – рюмки достану. Расставлю.

Паук, скумбрию порезал? Ты, хирург долбаный...

Ну что, пацаны? Мы больше никого не ждем?!

Тарелки... бац-бац-бац! Все на столе! Разлива-а-а-ай!

Ржаной хлебец, ноздреватый... Это я в «Спаре» купила...

Ну что, за что пьем? За меня-а-а-а?! Да ну вас в жопу, пацаны!

При чем тут я? При чем тут...

Что, уже выпили? Без меня? Ах вы...

...а-а-а-ах... Х-ха-а-а-а...

...отлично. Отличная водка.

...водка бывает или хорошей, или очень хорошей. Плохой не бывает.

...и что? Что? Что вы думаете про жизнь?

...я думаю про нее, что она – о-о-очень, о-о-очень ма-аленькая...

...потому что Бес однажды принес мне справку. Из больницы.

И там у него черным по белому написано было: гепатит.

А что это за хрень такая, гепатит, я его спрашиваю.

А он мне говорит: если я буду вести неправильный образ жизни, я скоро загнусь. И снова ржет, как конь. И зубы, гляди-ка, как лошадиные! Белые и длинные!

Я понимаю, сказала я, ты только его и ведешь, этот самый образ. А если бросить пить? И курить?

Нет, это невозможно, говорит он. Невозможно! Не смогу! Очень, говорит, я все это люблю. И вообще – жить люблю. А что за жизнь без удовольствий? Жизнь и так короткая. В ней надо все время наслаждаться. А иначе и жить незачем.

Хорошо, говорю я ему, будем наслаждаться! Будем пить, гулять, влюбляться!

И гляжу на него. И у меня вдруг так горячо внутри стало. Будто кто меня изнутри кипятком облил.

А он – покраснел. «Влюбляться, – шепчет, – влюбляться... У меня, – говорит, – Кэт, девушка есть... Она – моя будущая жена...»

Хорошо, говорю, что ты так в этом уверен. А у самой слезы в глазах. И вот-вот вытекут. И потекут по щекам.

Дура, говорю себе, дура, дура, дура... Он же пацан, пацан, пацан...

И он как шагнет ко мне. Как обнимет меня.

И над затылком своим слышу его голос, глухой, будто он в подушку говорит: я знаю, знаю, Кэт, что ты меня...

И целует меня в затылок. Я же ниже его ростом. В шею целует. Так смешно, сверху и сзади. А я стою, как кенгуру, лапки к животу прижала.

Больно, смешно, грустно, обжигаяще. Ничего не сделаешь.

И я, дура, дура, дура, я взяла – да обняла его.

А что мне еще оставалось делать?

И он опять меня на руки схватил. Как тогда, на мосту.

Как мы оказались на диване – не помню.

Помню, как я расстегнула его рубашку и губами ощупывала его худенькое, смуглое тело. А он хохотал беззвучно. И гладил меня по щекам, по волосам. А потом губы мои нашел. И присосался.

Мы уже голые были, и он уже был во мне, и я обнимала его ногами, когда в замке затрещал ключ.

Я вся холодным потом покрылась. Думала: блин, хозяйка!

И потом догадалась: нет. Я ж у моего старика ключ от своей хаты так и не забрала.

И точно, старикан мой входит.

И видит нас – голых – слились – друг в друга стучимся – рвемся друг в друга – на диване с продавленными пружинами; и пружины стонут, а Бес не видит ничего, не слышит, как оглох, стучит в меня молотом, не останавливается.

Старик встал, как вкопанный. Бес во мне, лежит к нему затылком, не видит. Двигается. Целует меня за ухом. Целует мне подбородок задранный.

Я гляжу на старикана.

Он смотрит.

Бес извивается на мне. Я его ногами нагло охватываю, крепко.

Гляжу – глаза в глаза – на старикана.

Глазами кричу: ты, сволочь сраная! Ты бросил меня! У тебя семья! У тебя дворец, весь в золоте и фарфоре и лепнине! У тебя дочери-сыновья в Гарвардах! Собачек золочеными расческами бонны чешут! А у меня – вот грязный подвал на Гребешке! Но я счастливей тебя! Я! Свободна! Я! Свободна! Я...

И я кричу Бесу в ухо: «Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю...»

Старикан не уходит, смотрит.

И тут Бес спиной голой что-то чувствует. И поворачивает голову. И вывернутым из-под моего локтя лицом – смотрит – и видит.

И плюет на пол. И выдирает себя из меня. Его тело, мне тогда показалось, дымится. Красный весь. Шагает к старикану. Еще. Еще. И еще шаг. Быстро наклоняется к куртке – он ее на пол сбросил – и мгновенно, я не успела заметить, как, выхватывает из кармана нож.

Блядь! Нож!

«Нет! Бес! Не-е-ет!» – кричу я. Но мне кажется, это кричу не я. А кто-то другой.

Бес, с ножом в кулаке, делает шаг к старикану.

«Вали отсюда, – говорит. – Ты ее бросил. Она из-за тебя топиться хотела. А она ведь молодая. И ей надо жить. А ты, ты! Ключ! Живо!»

И старикан мой так послушно, как телок, головой мотая, отдает ему ключ.

А отдал – замахнулся, чтобы ударить.

Бес не опустил голову. Как стоял, так и стоял.

Кулак старикана застыл в воздухе.

Я голая лежу. Как каменная. На спине. Гляжу на них снизу вверх.

И слышу голос старика, тяжелый, как гирия чугунная: «Пацан. Щенок. Я ее тоже люблю, эту... соску. Но подобное притягивается к подобному. Живите. Бог с вами. Я скоро умру. Я, может, хотел только на нее посмотреть. В последний раз».

И я только услышала, как хлопнула дверь.

Как выстрел.

И голый Бес подошел, сел рядом со мной на диван, нашел сигареты под подушкой и закурил. И мне сигарету дал. Так мы смолили: я – лежа, он – сидя.

А потом у меня стала болеть и кружиться голова.

Болеть и кружиться. Болеть и кружиться.

И я в больницу пошла. Своими ногами.

И меня положили. И я лежала, и меня кололи везде и всюду, и просвечивали, и всякая такая хрень. И потом пришел в палату, на обход, врач, и долго-долго передо мной на стуле сидел, экал, бекал, мекал, все никак не мог сказать. Потом разжал губенки и выдал мне: у вас, говорит, это... ну, в общем, в головенке... не все в порядке. Но у вас еще есть шанс.

Так и сказал: еще есть шанс.

Еще есть, о, блядь, здорово, сказала я громко, на всю палату.

И моя соседка, седая бабулька Люська, заворчала: ну что ж это, сладу нету, вот молодые, все матерятся и матерятся! Будто языка другого нет!

Я ушла из больницы тоже своими ногами.

И, видите, до сих пор хожу.

Я не перестала курить. Не перестала пить. И готовить вкусную еду, и жрать ее не перестала. И с мальчиками спать – тоже не перестала! Но не со своими пацанами. Мои пацаны – это святое. Это вроде как мои дети. Они живут у меня. Пьют. Поют. Копшатся, как мухи в кулаке. Как божьи коровки в спичечной коробке. «Кэт, – кричат мне ни, – Кэт! Солнышко наше! Самоварчик наш золотой! Кошечка наша, мохнатка! Мы так любим тебя!»

Я сплю с разными другими мужиками. И когда захочу. Не когда они захотят.

Потому что я знаю: я скоро умру.

И лучше жизни в жизни нет ничего, это я вам точно говорю.

А когда Бес привел ко мне свою Тонкую – так он звал ее, нежно, – опять у меня голова закружилась, будто я ландышей нанюхалась. Тонкая смотрела на меня тревожно, подозрительно. А я улыбнулась ей широко, во все зубы. Чтобы она меня больше никогда, никогда не боялась.

Придет время, и она родит Бесу ребенка. А я уже не рожу.

Я уже никого, никогда не рожу.

Голова, не кружись. Что ты все кружишься?

Наша Земля тоже кружится... и мы все – беженцы с Земли...

Куда мы убежали? Зачем? От кого?

Может, от самих себя?

А как это – умирать? Как прыгать с моста в холодную воду, что ли?

Ешьте, ребятки, что ж вы как слабо жрете грибочки! Со сметанкой, со сметанкой наворачивайте... Давайте, я вам сама сметанки положу! Ваша Кэт правда здорово стряпает?! Ну вот... Паук! Наливай! Накатим... Огурчик быстро закончился, а другого, жалко, нет. Ну что, ваше!.. драгоценное здоровье... Пацанчики мои... О-о-о-ох!.. у-у-у-ух... Под не-бом га-алу-бым... есть город за-алатой... с прозра-а-ачными ва-ротами... и яр-ко-ю звез-дой...

Кузя

Я один с мамой живу. Отец нас бросил давно. Мама моя кем только ни работала. Все хватала, что плохо лежит. Ну, не в смысле там воровала, ха! Работы хватала. Выше крыши набирала. Чужие рукописи перепечатывать. Мыть какие-то окна, полы какие-то, черт знает где, то в супермаркетах, то в фирмах каких-то. Чем-то торговала. Я знал, чем. Сапогами, валенками с машин. Это такие фуры приходили, фургоны, перекупщики всякие орудовали. Мать как продавщицу припахали. Ну она и пахала. На морозе торговала. Курить там, на машинах, научилась; пить. Я очень переживал. Кричал ей: мать, ну что ты с собой делаешь! Она сидела с бутылкой в обнимку. Смеялась: яйца курицу не учат!..

Курица, яйцо. Очень смешно. Наконец эта эпопея с сапогами-валенками закончилась. Я рос тем временем. Рос, и кое-что соображать начал. Почему мы все так живем. Ну, не все, конечно! Но многие. Почему мы живем, как быдло. У матери спрашиваю однажды: быдло, это что такое? Она сначала думала. Лоб наморщила. Она у меня, между прочим, начитанная, не хухры-мухры. Потом говорит: быдло, это, сынок, животное, наверно, корова. Или там бык. С «бы» начинается. И хохотать! И я хохочу, смешно же.

Яйца, куры, коровы. У нас в холодильнике не всегда яйца и мясо лежали. Чаще там лежала такая дешевая рыбка маленькая, ну, для кошек такую старухи покупают. Не знаю, мойва там... или килька. Один хрен. Мать с ней нам кашу варила. Овсяную или гречневую. Лук жарила; кашу варила; рыбу поджаривала, и все это дело перемешивала. Так долго можно было продержаться, на таком горячем блюде, особенно если еще хлеб есть, еще и молоко есть, еще и чай и сахар, а мать еще кофе любила и меня к нему пристрастила.

Нет, честно, держались мы. Я в школе еще учился, а подумал: я уже взрослый, пойду-ка я работать! И пошел. Ради смеха меня на стройку взяли, кирпичи рабочим подносить. Один кирпич – двадцать копеек. По тем временам это было очень даже ничего. Принес я домой заработанные рубли. Мама плакалась. Говорит сквозь слезы: ты у меня не насилуй себя, сыночек! Я сама справлюсь с нашей денежкой! И слезы в три ручья текут.

И я спросил ее тогда: мама, а что такое «не насилуй»?

Ну, вот дурак-то был.

Время-то течет, годики бегут! Я на себя в зеркало гляжу: ого, какой я рослый стал! Вымахал! Мама у меня маленькая, крохотная, как птичка, а я – мужичище ого-го! Косая сажень в плечах! И толстый, во, блин, толстеть начал! В зеркале себя видеть не могу! С чего бы это, а, думаю? Вроде бы и не с чего! С макарон, что ли? И перестал есть макароны. И кашу мамину тоже жрать перестал.

Спрашиваю однажды: мам, это в кого я такой грозный? В отца, да? Она вся посмурнела. К окну отвернулась. И долго так сидела. Потом говорит: я очень любила твоего отца, Слава. И плачет. А я спросил: а мне нельзя его увидеть? Только не говори, что он умер! И не говори, что он летчиком был и разбился на международном рейсе! И не говори, что он моряком был и погиб в подводной лодке «Курск»! И не говори, что он пограничником был – и его застрелил диверсант, который границу переходил! Не надо мне этих сказок, поняла?! Так я на нее накричал. Первый раз в жизни. А она все сидит и плачет.

Ну и я заплакал вместе с ней. Обнял ее крепко. Так сидели вдвоем и плакали. Я ревел как девчонка.

А про отца она так мне в тот раз ничего и не сказала.

Я школу плохо окончил. В аттестате у меня одни тройки были. Девять классов; лень было дальше учиться, все равно училки всякую байду на уроках мелют, и что, мозги свои под эти удары подставлять? Они не резиновые, мозги-то. Я реально политикой интересоваться начал.

Понимать начал, что все в мире не просто так существует. И что наша страна – тоже не просто так мучается, а со смыслом, ха! Только вот где этот смысл зарыт?

Где, как говорится, зарыта собака?

Очень хотелось мне знать, где собака зарыта. Я в компьютере разбирался, в Интернет лазил, у друзей, конечно, у меня дома никакого Интернета не было, у мамы денег не было на Интернет. Я матери сказал: все, никакой учебы, пошла она на хрен, иду работать. Нам жить надо! А не тешить самолюбие: мол, сынок в институте, ха-а-а-а, умный чеснок! Охранником пошел. Камуфляжную форму мне выдали. И газовый пистолет. Сказали: вот это такая газовая бирюлька, выстрелишь, если кто полезет. Ну, так, не убьешь, а оглушишь. Это воздушка, что ли, спрашиваю? Или там резиновые пули? Или что? Шеф заржал, как конь. Надо мной смеялся. Ну а что, спросить нельзя, что ли. «Мы тебя предупредили», – говорит.

А я тут с ребятами познакомился. С Бесом, с Культпросветом, с Белым и всей командой. Там и девчонки у них были. Не у всех; и менялись эти девчонки, как перчатки; а кто-то и оставался. И еще у них была такая коммуна номер раз! – с коммунаркой Кэт, ох и отпадная бабец, юмор, ухочешься. Она стареющая тетка, но бойкая такая! Молодая по духу. У нее на хате мы часто собирались. Кое-кто жил у ней подолгу. Она позволяла. Обед нам готовила. Короче, своя в доску телка. Когда Бес мне сказал: больная она, в башке у нее что-то там такое нехорошее нашли, – я чуть не заплакал. А может, еще вылечится, подумал!

Бес мне очень понравился. Он такой въедливый. Он до истины докопается всегда. Бес мне первый сказал, что у нас в стране зреет революция. Какая революция, ты что, сдурел, парень?! – сказал я ему, а он мне серьезно так: обыкновенная, старик, революция! Я призадумался. Ну да, вот так, как мы с мамой жили все эти годы, так, конечно, жить нельзя. Вот поглядел я, как Бес живет. Отец у него художник, преподает в училище рисунок, и сам картины красит, и что? Нищий он. А мачеха у него училка. Тоже мало получает. Они все, училки, нищие. И врачи – нищие. А кто богатый? Продавцы? Ну, мать моя продавщицей этих сапог дрянных работала. И что, богатой стала?

Бес мне все объяснил: богатые – это отдельный класс. Он у нас в стране образовался сам собой. За последние двадцать лет.

Ха, говорю, двадцать, а раньше что, богатых не было совсем? И смеюсь во все горло.

Были, отвечает Бес печально, были, а как же, конечно, были! И дальше – тоже будут! Но революцию мы делаем для того, чтобы хоть какой-то кусок времени не было, не было, не было богатых! Чтобы все – поровну!

Поровну, усомнился я, это как же все поровну? Прямо так взять и разделить? Как батон, разрезать? Тебе кусок и мне кусок? А кто дележом заниматься будет – те, часом, от этого батона себе лишний кусок не покрадут?

Бес задумался. Это, говорит, ты верно подметил. Есть соблазн.

Соблазн всегда есть, ха! – сказал я, и мы опять смеялись. Над соблазном.

Я Бесу рассказал, что я работаю охранником и что у меня есть пистолет. Бес приходил ко мне на работу, чтобы пистолет посмотреть. Рассматривал его, гладил. Любовался им. Я понял: у него есть мечта, пистолет. И он все равно себе когда-нибудь его приобретет. Купит. Или украдет. Или все равно что. Но заполучит. Потому что он так его держал любовно, так нюхал, так... почти что целовал! Да, мы, мужики, любим оружие. Это в нас с древности.

Мы из пистолета этого стреляли в бутылки и банки пустые, у меня на работе. Веселились.

Бес мне книжки приносил. Или я сам за ними заходил, за книжками, то в мастерскую, где Бес с отцом и мачехой жил, или в коммуны к Кэт. В мастерской мне очень нравилось. Там у Беса была отдельная комнатка, собачья конурка. Аккуратно все оклеено светлыми обоями. На стене висят лосиные рога и две картины: «Человек-собака» и «Человек-собака на фоне рейхстага». Шикарный человек-собака! Я думал, это его отца картины. А Бес мне гордо так говорит: это я сам написал.

Книжки я читал. Эти книжки написал писатель один. Он стал революционером, и, я понял, молодежь вся на них свихнулась. Ну, не вся, а в возрасте меня там, Беса, наших всех ребят. Он стал профессиональным революционером и печатался под псевдонимом «Еретик». Он издал недавно книжку «Ереси». Классная книжка! Мне понравилось. Все там так четко. О догме и каноне. О преступлении и о выходе из магического круга. Вокруг нас ведь круг очертили, мелом, и мы из него – ни шагу! А надо выпрыгнуть! Надо – себе все взять, что другие – присвоили! Ведь нагло же присвоили, нагло! Так нам надо стать еще наглее! Разве мы не можем?!

Вот и Еретик говорит: можем. Можете, говорит он.

И мы начитались наглого Еретика – и в себя поверили.

А что? Это единственное, во что можно верить. Ну разве в Бога сейчас можно верить? Абсурд. Бог – это что-то такое древнее, отжившее. Сгорело это все давно. И со сгоревшим трупом носятся. Ну кто сейчас в церкви заходит? Старушки, старички. А что молодые в церкви, мол, тоже, так это все пропаганда. Мы-то туда никогда не заходим. Вот и Бес назвался: Бес, это ведь не зря.

Я Слава Кузьмин, и они все стали называть меня – Кузя. Я был не против.

Однажды к нам в коммуны, к Кэт, пришел такой хороший парень. Сказал: я гауляйтер по Нижегородской области, у нас партия революционная, давайте-ка к нее вступайте, к нам. Будем вместе против гадов бороться!

Против каких гадов, я так наивно спросил? Хотя знал, что этот гауляйтер ответит.

И он четко ответил: против богатых, против олигархов, конечно! Разулыбался. Ну, я ему улыбнулся в ответ, а что еще было делать, когда с тобой так вот вежливо?

Мы разработали план. Мы печатали листовки. Мы ходили на митинги, да чахлые какие-то были эти митинги: три старушки и четыре старичка, и все. Но мы все равно верили, что мы нужны народу. Народ слепой, а мы будем его глазами! И будем орать его губами! Размахивали плакатами с изображением серпа и молота. В красном круге. Нам в спины кричали: фашисты! Народ не понимал, что мы – не фашисты, что мы – за народ. Ну как сделать так, чтобы все все поняли? Так не бывает.

Так не бывает никогда.

И вот однажды Бес мне говорит: Кузя, мне нужен твой пистолет. На одну ночь. Ты дежуришь, ну и так продежуришь, без пистолета, а мне он нужен, одного идиота поугаить. Ты что, поугай, что ли, Бес?! – крикнул я и заржал. Он обиделся. Ну, думаю, со мной разговаривать не будет, все, дружбе капец, – и рискнул, хотя и подумал: хозяин если узнает, врежет мне, мокрого места не оставит, – дал все-таки. Друг ведь все-таки. Друг.

И сижу всю ночь без пистолета. Пялюсь в черное окно. Блин, как хрустнет за окном – душа в пятки уходит! Хоть я и не робкого десятка пацан. Думаю: а ну, как ломанутся сейчас в окно?! – разобьют стекло?! – ворвутся, да наподдают мне, по голове треснут, оглушат, – прознали, что я сегодня без пистолета, и вперед! Сижу, томлюсь. Слонов считаю. Беса ругаю последними словами. И себя тоже.

И наступает утро. И шаги на крыльце! Я думал, это Бес! А это мама моя идет! Белая вся, бледная, лица на ней нет! Идет и в руках что-то такое тянет. Я рассмотрел: кастрюля, и крышкой накрыта! И мать лопочет: Славочка, это я тебе поесть принесла! И чуть не плачет. Я ее усаживаю, кастрюлю на стол дежурного ставлю, трясу ее за плечи: мама, мама, да что стряслось-то? А?!

А она: твой дружок, Бес! И снова реветь.

Еле я ее успокоил. Говорю: говори!

И она: Бес-то твой, мне ночью звонит, нам домой, посреди ночи! И кричит, чтобы ты его спасал! Потому что, кричит, я тут сейчас в вытрезвителе, мне, кричит, сотовый телефон мед-брат один дал, сжалился, я вам сразу и звоню, а с меня тут часы сорвали, и пистолет отняли,

а пистолет-то твой, Славочка, я так поняла! Твой! Казенный! Он кричит: деньги, деньги принесите! Пожалуйста! Выкупите меня, они денег требуют, волки позорные! Я кричу ему: ты погоди, у нас немного есть в заначке, да хватит ли на твой вытрезвитель?!.. и как тебя угораздило-то, ты ж такой хороший мальчик!.. А он: да, я хороший, да я взял у Кузи пистоль, одного гада подразнить, гад богатый, гад даже слишком богатый, гад себе яхту купил за миллион долларов, а у нас дети голодают! В больницах баландой кормят! В детдомах детей за лишнюю тарелку каши – няньки этими тарелками по голове бьют! А этот, дрянь! Я его выследил, говорит! Где его мерседес сраный останавливается, перед его особняком, кричит! Только, кричит, я для храбрости выпил маленько! А я ему: да уж чувствую, чувствую, что не маленько! А изрядно! Напоролся ты, кричу, в дымину! Что вот делать?! Он мне: деньги смотрите! Заплатите за меня! Выкупите! И плачет! Плачет, как ребенок! Ну что тут будешь делать, Славочка! Я поглядела в заначке – у нас там тысяча с небольшим, поглядела на часы – три часа ночи, а где этот вытрезвитель чертов, и не знаю! И не перезвонить! Ну, думаю, таксисты знают! Пойду такси ловить! И пошла. Выхожу на дорогу. Такси, как по заказу! С шашечками! Головую. Говорю: в вытрезвитель доведите меня, пожалуйста! За сто рублей, если можно, у меня больше нет. Таксист ржет как лошадь! Больше нет, видишь ли, мне таксист говорит сквозь смех! Больше у нее нет! Что, бабенка, допилась до чертей, ножки не держат?! Сама в вытрезвильовку тянешься?! И все в таком роде. А я ему: да трезвая я, трезвая! Мне надо выкупить паренька одного! Друга сына моего! А-а-а-а, таксист кивает, вижу, вижу жопу рыжу! Понятненько! Паренька! Да так бы сразу и говорила – муженька! Налакался муженек в дымину, ты тут и танцуешь, на дороге! Ну давай, садись, горемычная! – и повез. Да, сынок, у-у-у! не в вытрезвитель повез, а на какую-то заправочную станцию сначала, бензином заправлялся, а потом сел в такси, весь бензином пахнет, и приставать стал! Прямо лапает, и лапищи сильные такие! И целует в шею! Ты мне, говорит, сразу понравилась! Ты такая... говорит... добрая! Ну его, этого пьяницу твоего, говорит, выходи за меня! Я – мужик – во! За мной будешь – как за каменной стеной! А я ему: у тебя ведь, дурак, баба наверняка есть! Не жена, так любовница! Помрачнел. Есть, говорит. Ну и что, а ты вторая будешь! И опять лапать! Господи, как я вырвалась от него, и сама не пойму! У меня ведь мужика не было так давно, сынок, а я ведь еще молодая! Мне ведь тоже, может, хочется! А тебе всю жизнь отдала! А на меня никто и не смотрел! Во он первый посмотрел! Ну и что, я в этой борьбе победила, а мне потом так жалко было, что я с ним не... Поехали мы! В вытрезвитель! Наконец! Доезжаем. Говорю дежурному: я выкупить паренька приехала! Какого паренька, спрашивает? А я ведь, сынок, и не знаю, как Беса-то твоего по-нормальному зовут! Беса, говорю. Какого Беса, кричит дежурный, вы мне тут голову не морочьте, сами, наверно, пьяная! Эй, санитары, кричит, давайте и ее тоже в палату! Я плачу-реву, заливаюсь. Деньги из сумочки вытаскиваю. Вот, говорю, держите тысячу рублей, а паренька Бес зовут, другого имени я не знаю! И вся трясусь от слез. Дежурный тысячу-то у меня из рук вырвал. Тут же позвонил куда-то. Пришли, в белых халатах, он им что-то сказал, я уж сквозь слезы не слышала! И чудо – Беса твоего ведут! А я кричу дежурному: вы это, ему часы отдайте, что с него сняли, и пистолет отдайте! А они: какой еще пистолет, что вы бредите?! А такой, говорю, что вы у него отобрали! Это, говорю, казенный пистолет! Это моего сына, охранника, пистолет! Ему за него голову оторвут! В тюрьму, говорю, за него посадят! Отдайте! И руки тяну. Просто умоляю! Сжалились. Пошущукались. Выносят мне и часы, и пистолет! А потом и Беса твоего выводят! Он мне как на грудь кинется! Пьяный в стельку, и слюни текут, хоть слюнявчик подвязывай! Пацан! Обнимаю его, и сама слезами обливаю, и так ревом оба, а эти все на нас смотрят и то ли режут вместе с нами, то ли хохочут. Идите, говорят нам, быстрее отсюда, пистолет это же подсудное дело, пока мы не передумали, валите быстро, пока мы добрые! И мы обнялись и пошли, сынок, а денег-то больше не было, на машину, и мы с Бесом твоим так, обнявшись, и шли пешком... от самого этого вытрезвителя... до дома... Уж пять утра было. Я его помыла в душе, он совсем не стеснялся голый перед мной, отпоила

крепким чаем, он спал, уснул, три часа спал, потом разбудила, накормила и выпроводила. И тебе поесть сготовила, и вот принесла! Ты же у меня тут голодный сидишь! Вчера вечером-то пошел на работу, не поел!

И опять мать плачет. А я кастрюлю открываю – из нее пар, картошка еще горячая, и с мясом, ура! А мама в карман плаща лезет, и вынимает пистолет, мой дежурный пистолет, хозяйский, газовый пистолет, и его слезами обливает!

А я ее спрашиваю: мам, а Бес говорил тебе, ну, ему, это самое, удалось олигарха-то попу-гать? Когда он вылез из своего богатого мерседеса?

Плачет мать, плачет, ничего не говорит. И я взял у нее из рук пистолет свой рабочий, а я ведь из него никогда не стрелял в человека, только в банки, в бутылки пустые мы с Бесом стреляли.

Пистолет

*Он давно мечтал о пистолете. Как его отец когда-то.
Я об этом ничего не знала.*

Я давно мечтал о пистолете. О настоящем.
Оружие – у настоящего мужчины. Я мужчина. У меня должно быть оружие.

*Мы с его отцом все лето жили в деревне. Яблоки собирали, сливы, грибы. Варенье варили.
На сливах сизый налет, как изморозь.*

Приезжаем. У кошки котята, два котенка. Кот исчез.

В стенах – в обоях – странные дырки.

И – бардак. Все вверх дном.

*И Осип выбегает нам навстречу из своей комнаты. Пахнет водкой от него. Качается.
Но уже не сильно пьяный, а так, проспался уже. Меня – в объятия сгреб. «Соскучился я!» – кричит.*

«А где кот?» – спрашиваю.

«А, кот... Кот – гулять ушел. В воскресенье!»

Кошка худая, тощая; уголовавшаяся. На котятах блохи. Кишмя кишат. «Ося, что ж ты тут делал, а?! Ты ж работал! Я думала – зарплату получал... Мы ж тебе деньги посылали! А?»

Молчит.

Над плитой, на ниточках, грибы сушатся. Подберезовики? Или белые?

Я взяла тряпку и стерла с черного старого пианино серый толстый слой пыли.

Мы все лето, каждый день, работать с Белым ходили. На стройку. На объект.

Объект! Смех один. Обои клеили неделю. Прораб-то у меня Белый был. Я его приказов только и слушался.

Культпросвет с нами тоже немного поработал. До начала августа.

А потом нам дали деньги.

Зарплату.

Семь тысяч рублей.

Первое, что мы сделали, – купили на тысячу рублей водки и жратвы. Сала хорошего, поперченного, колбаски вкусной. Помидор, огурцов, кислой капусты. Водки, да! Хорошей. Ну, фирменной. Не паленой. И – сырого мяса купили, я его в уксусе, с лучком, замочил, шашлыки сделать.

Ждали, пока мясо замочится, и уже бутылку открыли. Одну. Другую. Огурчиками закусывали. Опьянели.

И все стало – море по колено.

До вечера досидели как-то незаметно! Сунулся в холодильник. О, шашлычок готов! Из кастрюли мясо вывалили в пакет, взяли шампур, побрели, обнимая друг друга за плечи, уже шаткими ногами – на Откос.

Эх ты, ребята, а в березах-то уже золотые прядки! Осень.

Но мы – не осень! Мы-то еще не умираем! Мы-ы-ы-ы-ы...

Солнце пекло! Лето еще текло нам на головы! Разожгли костер. Мясо на шампуры насадили. Подождали, пока угли задымятся. Жарили...

Еще бутылку вскрыли... Еще одну!

Помидорки с собой...

Дали курились сизой, синей дымкой, как угли у нас под ногами. Время горело. Воздух пах мясом. Вечер глотали, как водку. Небо было уксусное на вкус. Жизнь, это была моя жизнь!

Белый налил мне еще полстакана. Я уже не стоял на ногах, все падал куда-то вправо. Схватил стакан и засмеялся. Утер рот рукой.

Поднял стакан, водка выплеснулась мне на грязные берцы, и сказал:

«Я завтра куплю то, что хотел всю жизнь».

И мои – меня поняли. Загоготали, по спине стали хлопать. Я выпил и сел на корточки осторожно. Меня тошнило, но все равно было хорошо.

А Гришка уже спал под кустом. Храпел вовсю. Его накрыли от холода «косухой», а голову – от солнца – газетой «Друг народа».

Опять с друзьями пить пошли. Как надоело это пьянство!

Все пьют. Ну ладно бы мы, взрослые. Старые уже. Нам водка – слону дробина в левое ухо. И то спивается кое-кто. А эти? Юные? Алкоголики ведь уже! Руки, пальцы у них дрожат!

Лечиться насильно. Разве кто будет лечиться насильно?

Это надо самому от водки отказаться. А как? Как?

Ведь для них водка, пиво, дешевое красное вино – такой символ их юности. Их – взрослости. Без водки они вроде бы как дети, а с водкой – ну нет, уже мужики.

Мужики, юнцы-дураки-безбородые...

Вытерла пианино от пыли. Вытерла стол, где компьютер. Вытерла гитары Оськины, по стенам на гвоздях висящие.

И тут нога под диваном за что-то такое задела. Твердое. Холодное.

Стальное.

Я наклонилась и вытащила из-под дивана пистолет.

Я долго стоял в магазине. Глядел на них.

Они были черные; серо-перламутровые; густо-дегтярные; коричневые; блестящие, будто лаковые; с курками длинными; с короткими курками; со стволами толстыми; с коротенькими аккуратными стволами, будто их обрубали, как породистому псу хвост.

Такие разные. На ощупь – на вес – такие тяжелые.

Прекрасная, важная тяжесть.

Тяжесть – мужества. Тяжесть – смерти.

Я вдруг понял: это все не игра. Я сейчас куплю его – и я уже буду другой.

Какой? Ну, другой. Иной совсем.

Это как шагнуть: из детства – в пропасть.

И полететь, и заорать, и ждать, когда тебя ангелы спасут и вознесут к пухлым облакам – или разбиться, шмякнуться в лепешку.

Я держал в руках смерть. Свою? Чужую?

Почему меня продавец не спрашивает, есть ли у меня лицензия на ношение оружия?

«У вас есть лицензия на оружие?» – спросил продавец, молодой парень, такой же, как я. Даже на меня чем-то похож.

Я помотал головой. Непонятно так помотал. Вроде бы, есть, а вроде бы и нет.

«Покажи», – сказал парень мне уже на «ты».

И я это «ты» подхватил.

«Ты знаешь, продай мне его, а?» – сказал я тихо.

И наклонился к нему поближе, и постарался заглянуть ему в глаза.

«Не могу, – так же тихо, чтобы другие у прилавка не слышали, сказал мне он. – Но я тебе помогу. Вот тебе адресок один. – Наклонился. Накарябал что-то ручкой на листочке. – Вот. – Протянул. И еще раз повторил: – Вот».

Телефона там не было, только адрес.

Я сразу же пошел по нему. И быстро нашел.

Старый дом, в старом городе. Дверь с улицы закрыта. Я пошел во двор. Толкнул другую дверь. Она открылась. Лестница вела вверх. Я стал подниматься. Черт, дом вроде маленький, а лестница эта почему-то все не кончалась. Или это я так волновался? И ноги ватные? И мысли бились: настоящий, настоящий. Наконец-то.

Еще одна дверь. Постучал. Вышел маленький, как гриб, мужичонка. Щеки щетиной заросли, как пень серым кудрявым мхом. Он не удивился. Я молча прошел. Мужичонка не меня снизу вверх смотрел. Ждал.

«Макаров» у вас куплю?»

Мужичонка наклонил голову. Я увидел его лысый затылок.

«А сколько у тебя с собой?» – сказал он хрипло, не глядя на меня, глядя в пол.

Я тоже посмотрел на пол, увидел под ногами обшарпанные половицы, не крашенные столет.

«Десятка», – сказал я.

Четыре «штуки» я занял у Белого.

«Мало», – сказал мужичонка.

Я повернулся, чтобы уйти.

Он хлопнул меня по плечу.

«Стой. Давай. Хер с тобой».

Я держала пистолет на ладонях, как мертвую ворону. Он был тяжелый и оттягивал мне руки.

У Оськи пистолет.

Черт, а может, он игрушечный?!

Все во мне кричало: настоящий! Такой тяжелый...

Я вскинула глаза. Я поняла, откуда вмятины в стенах и дырки в обоях. У нас перегородка картонная, так они прострелили ее насквозь.

Я ощупала дырки: здесь, здесь и здесь.

Я поняла, почему ушел из дома кот.

Кот больше не вернется. Он испугался выстрелов и ушел. Голодный, не кормили, и в доме, где стреляют – из этого дома надо уйти навсегда. Зверь и ушел.

Кот больше вернется, кот, кот...

У Осипа пистолет, и что он будет делать с пистолетом? По улицам ходить и в кармане сжимать? И, если кто вдруг нападет, – отстреливаться?!

Или, может, пугать им ночной народ?!

Он думает: вот я живу в бандитском мире, и надо защищаться. В поганом мире на боку надо носить оружие.

С него однажды сняли куртку, новенькую. Мы с его отцом в милицию заявление подавали. Он даже знал, кто снял: сявка такой, со своей компанией, по прозвищу Еврей. Милиция это наше заявление, видимо, скомкала и – в корзину для бумаж. У них есть дела покрупче. И денежные. Подумаешь, пацанья куртка!

Потом на него напали, когда он со своей девочкой к ней домой ездил. В пригород. К ее родителям. Они в своем доме живут. Отделали так, что ой-ой-ой. Девочка, и ее подружка, рядом стояли, визжали и плакали. Среди бела дня. Семь вечера было. Эта срань Осипу закри-

чала: «Ты скин?!» Он крикнул им: да! – а они: «Так почему ж ты небритый, а-а-а-а?!» – и – бить.

Потом они с Белым, дружкой его, старый ноутбук по дешевке купили. Я им денег дала. Обрадовались! Домой несли – опять какая-то шваль подкатилась, главарь нож показал, руку протянул, ребята сами ноутбук и отдали. Нет, Оська не плакал. Что плакать? Жить надо. Как – жить?

Белый в партию вступил. В политическую. В оппозицию. В самую крутую. И Оську за собой потянул. Они все говорят: бандитская партия. А наш мир – не бандитский?!

Тяжелый пистолет, тяжелый...

Сжала я его в руке. В кулаке. И подняла. И на дверь направила. Прицелилась. И прищурилась даже.

Вот так и стреляют. Пиф! Паф!

Ой-ой-ой, умирает зайчик мой...

Я целюсь, и дверь открывается со стуком, и Осип шагает через порог.

И я – целюсь – ему в лоб.

И он кричит с порога, страшно:

– Не стреляйте! Заряжен!

Я вышел во двор. Пистолет лежал в кармане. Он оттягивал мне карман. Сладкой, приятной тяжестью. Я пощупал его, сжал крепко-крепко.

Все. Жизнь началась.

Я стал с ним сильнее? Нет. Это не то.

Я стал с ним – самим собой.

И у меня, от его истошного крика, так странно сорвался, дернулся палец. И я ничего не поняла, только услышала резкий, громкий хлопок. И уши заложило.

И глаза зажмурила.

А открыла – вижу, щека у Осипа в крови. И плечо в крови. И по шее кровь течет.

И он стоит, не падает почему-то.

И я швыряю пистолет вбок, на пол, и он катится к ногам Осипа, а я ору дико:

– Оська! Оська-а-а-а! Я убила тебя-а-а-а!

Метнулась к нему. Под мышки подхватила! Он стоит, все не падает. И отчего-то улыбается. Смеется. И я вижу: у него между передними зубами – щербина, как у зайца.

– Зайчик мой...

Плачу.

– Ухо пуля оцарапала, – смеется.

Я плачу! А он довольный.

– Что ты смеешься?! Смерть домой приволок, и смеешься?!

– Теперь у меня пол-уха нет. Это уже боевой шрам.

И опять – такая довольная, как у сытого кота, улыбка на губах.

А руки дрожат. Пальцы дрожат.

И водкой, опять водкой от него пахнет.

Я чуть не убила его, а ему радостно.

Мачеха в меня стрельнула. Когда домой пришел. Через порог переступил. Это я сам виноват. Я крикнул, она испугалась и выстрелила.

А теперь она просит меня пистолет продать. Или отдать кому-то.

Хрена с два! Я о нем всю жизнь мечтал. Лучше я себе глаз выколю, лучше палец отрежу, чем пистолет продам!

В нем теперь вся моя жизнь.

Такая уверенность в себе. Я раньше был такой... козявка. Всех боялся. Шел по улице и боялся. Я теперь никого не боюсь. Четко так иду, уверенно. На всю ступню наступаю. И его – в кармане чувствую. Даже если руку в кармане не держу.

Ну ведь зачем-то оружие придумали люди!

И ходят с ним; и пользуются им.

Важно с умом пользоваться. Не палить в белый свет, как в копеечку.

Зато я теперь – с ними со всеми. С героями. С солдатами. С теми, кто на войне. Я сжимаю его – и, хоть я не солдат, но я смотрю вперед, и я вижу перед собой глаза тех, кто умрет.

Это у меня песня такая.

«Нету войны, а я не солдат! Волю в кулак – для шага вперед... Нету войны, но я чувствую взгляд...и я вижу глаза тех, кто умрет. Тех, кто умрет».

И пусть я умру. Я ведь знаю, что я умру. Я точно умру, как и все люди. Я хоронил мою мать, и я видел ее лицо в гробу. Там, на севере. Дул ветер. Мы привезли гроб на кладбище. Дул тяжелый, с Енисея, ветер, и он обваривал льдом лицо, и мы опускали мать в могилу, и я только потому не сошел с ума, что был весь как железный от мороза – руки железные, ноги железные. Я был пацан, мне было шестнадцать лет. Отец поил меня потом водкой. Я пил водку и не пьянел, и не согревался. А потом согрелся, забился головой об стол, зарыдал как девчонка, а отец обнимал меня и тоже рыдал. И я... понял, что вот так и я тоже лягу когда-то. В такую же длинную деревянную лодку. И меня закопают. Навсегда.

Да, я умру. Как все люди. Но у меня в кармане смерть. Моя или чужая – это все равно. Она у меня в кармане. Я сжимаю ее в кулаке. Я владею ею. Захочу – и она будет моя. Захочу – посмеюсь над ней! Во все горло.

Ха-ха-а-а-а-а!

Я перевязала ему ухо, обработала перекисью водорода, потом йодом залила, ухо все коричневое стало, и обмотала бинтом полголовы. Раненый казак! Почетно. Он сиял. А я про себя материлась. И у меня дрожали руки, как у него.

И вошел его отец. И увидел нас, и Осипа голову перевязанную.

– Что тут у вас? – спросил.

И Осип за его взглядом проследил.

Пистолет на полу валялся.

Он его увидел.

Я думала – скандал сейчас начнется.

А его отец наклонился медленно, медленно взял пистолет в руки. И погладил его. Как живого. Как живую птицу... зверька. Черного страшного зверька. Кусачего.

И голову поднял. И я поразились его лицу.

На его лице просветилась, взошла и засияла, и заплакала вся его несбывшаяся жизнь. Которую он мечтал прожить, да не прожил.

– Я всегда мечтал о таком, – сказал он тихо. – Оська!

И Осип глядел на него молча, а он шагнул к нему и обнял обеими руками его культяпку, белую перевязанную голову, как запеленатую куклу.

Отец его обернулся ко мне. Я сжалась в комок.

– Мой отец, дед его, в Азиатской дивизии у Унгерна служил, казак. Ургу брал. Шашкой востю махал. Стрелял. Герой был. – Он помолчал. Вдруг крикнул хрипло, тяжело: – А мы?!

Мы, все трое, молчали.

И слышно было, как ровно и мерно идут часы.

Или это кровь толкалась у меня в ушах?

Я никому, никогда не отдам его. И не продам ни за какие деньги.

И в карты не проиграю.

И не пропью.

Если только в меня кто-то выстрелит, сучонок какой-нибудь вонючий, и отнимет его у меня. Уже у мертвого.

Я могу его только подарить. Сыну своему.

У меня будет сын. Тонкая родит мне сына. Это будет хороший пацан. Тонкая смеется: ты сам еще пацан! – и целует меня, как только она одна целует.

Я давал ей разглядывать пистолет. Она гладила его кончиками пальцев. Так ласково.

Будто меня, голого, гладила.

Будто гладила мой...

Зубр

Сидеть и глядеть на экране
эти наглые, дикие кадры.
Они волнуют кровь и дарят нелепый, забытый страх.
Страх – как водка. Как дешевая водка.
Его не хочешь пить и пьешь все равно.
До ужаса, до криков, до победы – все глядеть и глядеть.
Они будут бегать и прыгать на экране,
эти люди с темной кожей и раскосыми, ночными глазами,
которых избивают тяжелым чугунными сапогами-утюгами
наши ровесники.
И это же так классно – когда избивают чужих!
Чужаков когда бьют!
Это ведь раз в жизни дано: убить чужого!
Убить и расплющить врага! Мозги ему выбить!

Эй, Бес, гляди, кажись, мачеха твоя пришла, а мы тут орем.

Да нет, ничего, ори. Ей по барабану. Она добрая.

Эй, Бес, а че у тебя волосы черные? И глаза – раскосые?

А это... это самое. Это. Ну. У меня родная-то мать, покойная, наполовину башкирка была.

А, вот оно что! И скрывал! Нехорошо как-то, Бес. Неприлично.

А че, мне теперь от революции отвалить? Че, башкир я, да?! Черный, да?! Отец-то у меня казак! Сибирский казак! Вам всем и не снилось! Наш род казачий длинный и славный. У папки – шашки казацкой вот только нет! Я богатым стану, куплю ему. В подарок. Подарю в день рожденья. Ты, глупый Зубр! Я ж сам был скином. Я сам башку брил! Вот, Зубрила, гляди, Кельтский Крест на плече мне набили!

Кельтский Крест – все фигня. Это все бирюльки. Делами доказывать надо революции верность.

А если мы победим – че, будет Россия для русских?

Блин, ну так за то ж и боремся! За то и кровь проливаем, глупый ты Бес! Вон, на Дальнем Востоке, девчонка одна, из наших, к батарее наручником себя приковала и жрать перестала! Чтob из тюрьги выпустили парня! Другана ее! Нашего тоже!

А че парень сделал?

А парень это самое, ну... это... с командой – узбека одного замочил. Вусмерть. Берцами. Под дых. На вокзале. На железнодорожном вокзале. В Хабаровске. Ты только что ролик глядел.

Еще поглядишь? Герой наш парень. Мочил прямо так технично! Мошара! Так его и в тюрьму сразу же кинули, ну, вокзал же, кругом же менты...

А у узбека этого... че... семья осталась?

Да не. Молодой. Пацан еще узбекский. Ну, мать там, наверно, осталась. Рыдает щас в уголке где-нибудь. Молится узбекскому богу.

Ты, Зубр, хватит курить, а, вот яблочко съешь! А какой – у узбеков – Бог? Аллах, что ли?

Аллах, чудище ты. Конечно, Аллах. Каждый чучмек своему Боженьке молится. Вьетнамец – своему. Туркмен – своему. Индус – своему, между прочим! Кришне там, Вишне...

Вишни! Вишни хочу! Спелой!

Облوميшься, Бесенок ты жадный. Жадюга. Мечтатель! Еще ведь май месяц. До вишни еще – пилить да пилить. Ты не вишни хочешь, а ты просто голодный. Понятно? Да ведь и я голодный тоже! Чего б нам пожрать?

Денег нет, Зубр. Денег нет.

А добыть?

Как добыть? Украсть, что ли?

Хм, ну ты, что ли, работать пойдешь, ха-ха-ха!

И пойду. И пойду, если надо.

Революция, Бес, заплатит тебе! Революция! Ха!

Что ты ржешь, щас в морду получишь... Иди ты...

Че-че?! А ну повтори!

...иди ты на улицу, черного встретить, замочи, кошелек у него из-за пазухи вынь и жратвы нам купи.

А-а, это дело, а то я-то думал.

Они спиной к экрану встают.

Они режут хлеб и варят рис с остатками жалкой тушенки.

Они смеются: классно хабаровцы черных мочат! Вот и нам так же надо!

Да ведь не только хабаровцы. И москвичи. И питерцы. И смоляне. И иркутяне. И читинцы. И самарцы... тьфу ты, черт, самаряне...

...добрые, что ль, самаряне?... ха-ха...

А потом тихо шепчут: не-ет, у нас другая программа, другая программа... Кровь – это все детский сад... Это все вчерашний день... Мы, как они, не будем. Мы будем – иначе.

А потом Бес, заглотив, как ужонок, ложку непроваренного, похожего на белые личинки, мышиного риса, с тушенкой перемешанного, и запив хорошим глотком дешевейшей «Сормовской» водки, – спасибо тебе, Зубр, за водку, очень кстати она! – внезапно кричит над грязным, в окурках, столом:

– Не денемся мы никуда от крови, Зубрила! Не денемся! Не-е-е-ет!

И Зубр, прищурившись, ложку за ложкой в рот отправляя, мычит сквозь рот, рисом набитый:

– Конечно, не денемся. Всех ты из своего пистолета положишь, Бес, всех. Всех врагов революции. Всех, кто будет против тебя. Кто не с нами, тот против нас, ты же помнишь?

И Бес кивает: «Помню! Помню!» – жадно перемалывая сухой жесткий рис, мечту тихих трусливых мышей, жадными, молодыми, белыми, хищными зубами. Русско-сибирско-татарско-башкирскими, сильными и безжалостными зубами.

Кто не с нами, тот против нас, это же ясно как день.

Нью-йоркский аэропорт

Бес остановился у самого начала моста через Почаинский овраг и вынул из кармана пачку сигарет.

И закурил.

Облокотился на черные холодные перила.

Здесь, давно, лет десять назад, а может, больше, два пацана сбросили вниз, в овраг, с моста, девчонку.

Они стояли у перил и за шкирку котенка держали, издевались над ним: мол, что верещишь, тварь, сейчас сбросим тебя вниз, сбросим! А девчонка шла мимо. И бросилась к пацанам: не смейте! Заступилась за котенка.

Ну и что? Пацаны котенка все равно вниз швырнули. А потом девчонку схватили и – туда же. Сбросили. Вниз. С моста. В овраг.

Эх и визжала она, наверное!

Не хочется ведь умирать.

Котенок разбился. В лепешку. Девчонка разбилась. Двадцать пять метров вниз лететь, конечно, разобьешься наверняка.

Он фотографии видел. Зубр показывал. Из старых газет. Лежит, руки раскинула. Будто – распятая. И лицом – вверх. В небо смотрит.

Бес затянулся и представил себе пацанов, только что сотворивших это. Напугались они? А то. Не то слово. Может, сразу деру дали, чтоб не поймали.

Но их все равно поймали. И был суд.

И родители отмазали их от срока. У них были богатые родители.

Хорошо быть богатым.

А родители той девчонки на всю жизнь остались – со слезами своими.

Ей было девятнадцать. Как... Он затянулся. Как Тонкой сейчас.

Она училась в художественном училище. Картинки рисовала. Как – Тонкая – сейчас.

Бес поехал. Представил, как Тонкую сбрасывают, на его глазах, с моста, а его крепко держат, за локти, и он ничего поделать не может. И видит все это.

Он щелкнул пальцем, окурок полетел в овраг, в темную грязную зелень, уже тронутую старой позолотой.

Автобус, шедший в аэропорт Стригино, был большой, неповоротливый и толстомордый, как бегемот. Толпа напирала, тетеньки охали и стонали, Зубра то и дело крепко, плотно прижимало, на поворотах, к Бесу, и Зубр цедил сквозь зубы:

– Блин, мы с тобой просто как голубые.

Бес хохотал беззвучно.

– Покурить бы.

– Сейчас слезем, в аэропорту покуришь.

Они ехали в аэропорт встречать одного человека. Человек прилетал из Питера. Все, больше Бес про человека ничего не знал.

Зубр ничего и не сказал, кроме: едем встречать человека из Питера.

«Нет проблем», – сказал Бес.

Бес вообще был легкий на подъем.

Бес вообще был легкий. Худой и легкий. У него кости были словно воздухом наполнены. Еще немного – и полетит.

В аэропорту, в отличие от автобуса, было просторно и пустынно. Ощущение заброшенности охватило. Два, нет, три человека в зале ожидания. Около касс еще стояли. И все.

– Будто в Болдино аэропортик, да? В деревне, – сказал Бес.

Зубр промолчал. Его рыжая башка светилась в полумраке холла.

– Когда самолет? – спросил Бес.

– Скоро, – ответил Зубр.

Они стали ждать.

Через десять минут Бес спросил:

– А на хрена ты меня просил взять пистолет?

Зубр улыбнулся.

– Мало ли что.

– А что – мало?

Теперь улыбнулся Бес.

Им нравилось встречать человека из Питера. Им нравилось, что у Беса в кармане – пистолет. И вообще все круто, нет, на самом деле серьезно.

– Мало всегда всего. Чаще всего, Бес, времени мало.

– Догадываюсь.

Опять стали молчать, вертели головами, таращились на глупое тоскливое стекло широких и высоких окон.

Бес вышел покурить на улицу.

Потом – Зубр.

– Блин, когда уже этот самолет?!

Пассажиры напротив мирно, свернувшись, как коты, спали в неудобных креслах.

– Да скоро, скоро, я тебе говорю.

Еще сидели, ждали.

Уже томились.

Зубр сказал:

– Пойду-ка я...

Потом пошел Бес.

Им стало скучно все время молчать, плотину прорвало, хотелось говорить, размахивать руками, говорить громко, может, даже орать, орать на весь пустынный стеклянный зал.

– Эй, Бес! А правда, вчера здорово погудели! Просто чудо! Песня твоя последняя...

– Бли-и-ин! Последняя! Еще не последняя! Еще много напишу!

– А мои ролики – про питерских скинов – все посмотрел?! Успел?!

– Не-е-ет! Не все! Но там один есть такой! Как черного дядьку ногами забивают!

– А! Это – на Литейном снимали! На телефонную камеру!

Они орали, как на пожаре.

Голоса эхом отдавались под потолком.

– А-а-а-а! Понятно! А тебе питерские, что ли, прислали?!

– Не-е-ет! Из интернета скачал!

– А-а-а-а!

– Черного-то – насмерть забили! Ты понял?!

– Да-а-а-а!

Им нравилось, как летают в пустом зале их голоса.

– Зубр! Когда уже?! Этот долбаный самолет?!

– Да вот уже! – Зубр поглядел на аэропортовские часы. – Бли-и-ин! Час назад уже должен приземлиться! Е-о-о-о-о!

– Ну вот! Я же говорил! Торчим тут!

Пассажиры напротив проснулись и со злостью глядели на Зубра и Беса.

– Вы погромче не можете? – зло спросил толстый мужчина в желтой куртке.

Бес широко улыбнулся.

– Можем! – весело крикнул он.

Но разговаривать стали на полтона ниже.

– Зубр, а представляешь себе, вот – Нью-Йорк, и мы – в Нью-Йорке?

Зубр пожал плечами.

– А чего его представлять? Город как город. Ну, небоскребы. Ну, люди. Я бы лучше в Африку полетел. На слонов посмотрел. На львов. Хочу в саванну. На львов глянуть. На живых. А город?

Он сплюнул на гранитный пол.

– Нет, ты не понял. Вот сейчас мы сидим не здесь, а – в Нью-Йорке. В Нью-Йоркском аэропорту.

– А, в Джей Эф Кэй! А-а-а-а! Ну! И что! Сидим! Вот так же сидим! И что?

– Нет, ты представь только: в Джей Эф Кэй!

– Ну, представил! И что? Какая разница?

Глаза и зубы Зубра смеялись.

– Ну! Какая! В Нью-Йорке же!

– Думаешь, мы там никого бы не встречали? Или – не улетали оттуда?

– Куда?

– Ха-га-а-а-а! В Россию.

Плывущий, невнятно-кокетливый девичий голос пухом из подушки разлетелся по залу: «Рейс двести пятнадцать, из Санкт-Петербурга, опаздывает на три часа! Задержка... погодные условия... приносим наши извинения...» Голос кокетливо повторил то же самое по-английски.

Зубр поморщился.

– Рашен инглиш, – презрительно сказал он и опять сплюнул. – Инъязовка. Убил бы на месте. За такое произношение. Чему их там учат, благородных девиц? А все они! Мечтают! В Америку!

– И – замуж за Билла Гейтса, да-а-а?!

– Заткнетесь вы?! – грубо крикнул толстяк в желтой куртке.

– Экскьюз ми, – вежливо пропел Зубр и изящно вставил в зубы сигарету.

– Погодные условия. Брехня! Это не погодные условия. Это – знаешь что? Это...

Зубр замолчал. Внезапно помрачнел густо, тучей.

– Что замолк? – ткнул Бес его в бок локтем.

Зубр вздохнул. Опустил рыжую башку. Помял кончиками пальцев веснушчатый широкий, как детская лопаточка, нос.

Обернулся к Бесу.

На бледном лице ярче, гуще, темным рассыпанным просом проявились безумные веснушки.

– Этот человек. Этот.

– Какой человек? – Бес старался быть терпеливым. – Которого мы встречаем? Из Питера?

– Да. Он. Они могли его поймать. Перехватить. Или в самом самолете. Или – при посадке.

– Это что, не прямой рейс? – спросил Бес.

– Нет. В Москве садится. Потом сюда летит.

– Значит, что-то в Москве произошло.
– Значит, – Зубр снова сплюнул.
– Пол заплюешь. Прекрати. Ты же не верблюд. Не волнуйся. Ну, подождем эти три часа. Я в буфет схожу? Куплю пожрать нам?
Бес поскреб в карманах, вынул деньги.
– Да-а-а. Негусто, – сказал Зубр, глядя на мятые купюры в ладонях Беса. – На пирожки с котятами хватит, а на пиво нет. Держи.
Он положил поверх мятых десятков новенькую, даже еще не гнутую сотню.

Они жадно кусали холодные пирожки с капустой, запивая теплым пивом.
– «Окское», ведь хорошее, но не могли, сволочи, в холодильник...
– Она сказала, что – из холодильника, – промычал Бес с набитым ртом.
– Врет. Что у них там еще есть?
– Дрянь всякая. Салаты. Все дорого.
– А куриные ноги, ледяные, с кожей... в пупырышках – есть?!
Они кусали пирожки и хохотали, жадно жуя.
– Есть! Вроде...
– В дороге... м-м-м!.. в дороге всегда надо грызть куриную ногу... это обычай такой... русский...
– А может, не только?.. А американцы – что, кур не едят?.. Ножки Буша, га-а-а-а...
Зубр допил пиво и аккуратно поставил пустую бутылку у края скамейки.
– Еще два часа куковать, – спокойно и, кажется, даже весело сказал.

Сбоку, совсем рядом, раздался дикий, с брызгами, звон стекла и дикий мат. Будто пока-тилось, переезжая живую тихую плоть, гремящее стальное колесо.

Они оба быстро обернулись.

И поняли: все надо делать быстро.

Около разбитого окна, спиной к окну, на осколках, лежал парень в черной кожаной «косухе». Такой же, как у Беса. Как близнец его, брат. Второй парень, которого били, безжалостно, хищно, насмерть, еще стоял на ногах. Отбивался. Он был крепче поверженного, и, видимо, знал приемы. Тех, кто бил, было больше. Бес не сосчитал: трое там или четверо, пятеро. Больше, это было понятно. Черная куча. Все копошатся. Выкрикивают ругательства.

И Зубр, и Бес среагировали мгновенно и одинаково. Они уже бежали к драке, бежали к своей судьбе, и Зубр только крикнул Бесу на бегу:

– Ну?! Ты – готов?!

Бес бежал и сжимал в кармане пистолет.

Его охватила странная, дикая радость. Дрожь.

Так пляшут в ночи, после любви, у реки, у костра. Под звездами.

«Какая река... какой костер... они выбьют у тебя из рук пистолет... и ты!..»

Пока бежал – увидел: лица тех, кого били, кого – убивали, были смуглые и раскосые, смуглые и раскосые.

– Зубр! – крикнул он. До дерущихся уже оставалось всего ничего. – Зубр!

Он хотел крикнуть ему что-то важное.

Но времени уже не было.

Он понял: вот этот ударит, сейчас. Он не успел отвести лицо, и хороший, мощный удар пришелся в скулу. Он стал падать, и спиной наткнулся на грудь того, черного, который дрался, еще не сваленный на пол, – и устоял. Руки сами делали свое дело. Кулаки, колени знали, что

делать. «Погоди, пока не выдергивай оружие, погоди. Пока – руками. Нас уже тоже четверо. Сейчас этот встанет с пола. Сейчас!»

Он видел, как Зубр отлично ударил одного в живот, снизу, и тот не успел закрыться. Вместо крика раздалось рычание. Зубр увернулся. Рыжая его голова металась, как факел. В кулаке одного мелькнуло стальное, серое, рыбье. «Так, уйти от ножа. Быстро. Так!» Тот, кто валялся на полу, очухался, встал на четвереньки, потом вскочил на ноги.

Уже веселее, подумал Бес.

Под подошвами берцев хрустели осколки. В спине чернявого парня, в куртке, осколки торчали, как льдинки. По черной коже текло красное, казалось, густое, сладкое... похожее на сироп. Бес развернулся и хорошо въехал оказавшемуся ближе всех. Ему вмазали тоже – сзади. И опять он не упал. Хотя голова поехала, поплыла... полетела.

«Я полетел, да, я уже полетел. Я лечу в самолете, ха! В Нью-Йорк».

Он видел, как Зубру засветили в ухо, и Зубр стал падать.

Зубр падал медленно, как во сне, так не падают люди, так люди танцуют – или обнимаются. «Обнимаются с жизнью, что ли?» Он думал, еще думал, холодно, ясно работала голова, сама по себе, отдельно, а руки, локти, ноги делали свое. Он пнул того, кто повалил Зубра, сильно пнул его в колено, скосил глаза – и тут увидел, как по черному свитеру Зубра тоже медленно, сонно ползет густое, да, сладкое, вишневое, или, может, клубничное. Дачное варенье. У Зубра, у матери его, была дача, там вишни росли, мать варенье варила.

– Зубр! – крикнул Бес.

Зубр лежал на полу, раскинув руки.

И рука сама нырнула в карман – и выдернула живую, горячую, маленькую игрушку. Маленькую смерть.

«Я сейчас поиграю в смерть. Немножко. Только немного. Это только игра, ну правда. Только игра».

Тот, что с ножом, сунулся к нему – и отпрянул от него.

Бес вскинул руку с пистолетом.

Он крепко, железно держал пистолет на вытянутой руке, наводя его в лоб, в лицо то одному, то другому, – и они сразу почувствовали смерть, сразу перестали махать руками, сразу стали отступать, на шаг, еще на шаг, еще.

Вот уже кучкой, черной, грязной, в чужой – или своей? – крови, – стояли, тесно сбились.

– Не дрейфь, – сказал тот, что с ножом, так и продолжая держать нож лезвием вверх, в белом от напряженья кулаке, – не дрейфь, тебе говорю... у него, может, пугачка только... газовый...

– Хрен ли, – сказал парень с тату в виде красной змеи, набитой на лбу, и с серебряным пирсингом на бритой брови, и дунул себе нижней губой на разбитый нос. Красная змея ползла по его лбу, и Бесу казалось – это течет по лбу кровь.

Нет, кровь и правда текла.

Зубр лежал без движения. Руки раскинуты.

– Вы, подонки, – тихо сказал Бес. А ему самому показалось – крикнул! – Валите отсюда. А то я вас поваляю. Всех.

Тот, с ножом, сунулся было к нему, но парень с красной змеей цепко ухватил его за локоть.

– Тихо. У него ствол нормальный. Тихо. Уходим.

Они пятились.

Бес держал пистолет на вытянутой руке.

Старался, чтобы рука не дрожала.

Она и не дрожала.
В голове плыло.
Они пятились.
Глядели на дуло пистолета.
Дуло глядело на них. В них.
Дуло видело то, чего никогда не увидит живой человек. Никто – из живущих.

Бес не помнил, как, куда они провалились.

Бес видел, как один чернявый тащит к выходу из зала, под локти, другого, который, видно, вырубился совсем, – да, они их спасли, да, двух черных, ну и что, – и тоже не помнил, как они исчезли.

Он спрятал пистолет в карман и сел на корточки перед Зубром.

Зубр был неподвижен и мирен. Он раскинул руки, будто хотел обнять кого-то.

– Зубр, – сказал Бес и, гармошкой сморщив нос, заплакал без слез. У него заболели, заныли колени. – Зубр! Вставай!

Он просунул руки Зубру под затылок. Что-то теплое, льющееся ощутил. Его затошнило.

– Милиция-а-а-а! – тонко, беспомощно провыл толстяк в желтой куртке.

Бес обернулся к толстяку. Вытащил красные руки из-под затылка Зубра. Вытащил телефон из кармана куртки.

– Не милицию, а «скорую», – без звука, одним хрипом сказал он и набрал пальцем в крови «112».

– Самолет, прибывший рейсом двести пятнадцать из Санкт-Петербурга, произвел посадку! – радостно сказала неведомая девушка.

И потом то же самое – на плохом, манерном, чуть в нос, английском.

Прямо к ним шел человек.

Он шел прямо на них, и Бесу показалось – он сейчас пройдет сквозь них, как сквозь туман.

Бес уже не мог его остановить.

Он уже вообще ничего остановить не мог.

Человек едва не наступил Бесу на черный утюг берца.

– Помочь? – только и спросил он.

Они вдвоем взяли бесчувственного Зубра и перетащили на кресло. Уложили. Спина перегибалась через спинку кресла, голова закидывалась куда-то далеко. Вот-вот шея сломается.

– Ему неудобно, – хрипло сказал Бес.

Его запоздало затрясло.

– Другого выхода нет, – сказал человек. – Он простудится, лежать на граните.

– Спасибо вам, – сказал Бес.

Минуту сидели, смотрели на Зубра, друг на друга.

– Вы вызвали «скорую»? – спросил человек.

– Да.

– Меня тут должны встретить. Мы задержались. – Глаза человека быстро, колюче обегали пустой зал. – Вы тут не видели никого? Именно тут, в зале? Мы договорились в зале.

– Мы тоже встречающие, – сказал Бес и прокашлялся, так хрипело, клокотало в сухом горле.

– А! – сказал человек. – Вы кого встречаете?

Глаза человека были острыми, колючими, пронзительными даже; просверливали в Бесе две кровавых, черных дырки.

– Человека из Питера, – сказал Бес.

Вытер запястьем кровь с подбородка.

– Это я, – сказал человек.

Сверлящего взгляда – не спрятал.

– Вот видите, как получилось, – сказал Бес. – Простите.

– Ничего. Бывает.

– Зубр должен у вас что-то взять. Дайте это мне.

– Кто вы?

Человек из Питера говорил холодно, быстро, надменно.

– Я его друг. Мы – вместе.

– Хорошо. Я верю вам. Вот. Держите. – Человек из Питера быстро утопил руку за пазухой, быстро вытащил сверток и толкнул в руки Бесу. – Здесь деньги и диски. Этого вам хватит на первых порах. Диски держите в надежном месте. Вы в курсе, что телефоны ваши – все – прослушиваются?

– В курсе, – кивнул Бес. Спрятал сверток за пазуху, во внутренний карман. Похлопал ладонью по жесткой коже.

– Я не буду дожидаться с вами тут вашей «скорой», – ледяно, отчетливо сказал человек из Питера. – Я – лечу дальше.

– Куда? – глупо, тупо спросил Бес, глядя на закинутое, с открытым ртом, лицо Зубра.

– В Нью-Йорк, – сказал человек из Питера.

И улыбнулся.

И Бес увидел, что у него все верхние зубы, под небритой наждачной губой, золотые, просто антикварные.

– Как в Нью-Йорк?

«Зачем я глупости спрашиваю».

– Очень просто. Через Франкфурт. «Люфтганзой». – Он посмотрел на часы на широком волосатом запястье. – Через час. Пойду. Надо успеть. – Похлопал по плечу Беса. Посмотрел на Зубра. – Пока. Увидимся.

– Пока. Увидимся, – эхом отозвался Бес.

Телефон проиграл красивую, нежную мелодию.

«Тонкая. Милая моя. Позвонила».

Он поднес телефон к уху.

Услышал милый, очень тихий, нежный голос, будто его владелица сама себе шептала что-то тайное, неслышное.

– Ося... Ты где...

– Тонкая, – как можно нежнее сказал Бес, – не волнуйся. Мы в аэропорту. С Зубром. Мы встречаем одного нужного человека.

– Встречаете?..

Голос таял, вился легким дымом.

– Уже встретили. Я – вечером – буду у Кэт. Ты тоже туда приходи.

– Осип... Ты... не выпил?.. случайно...

«О-о-о-о...» – тихо таяло в трубке.

– Случайно нет, – сказал Бес и улыбнулся. Улыбка вышла кривой, но веселой. – Не волнуйся, прошу тебя.

В трубке уже толкались, прыгали гудки, когда он говорил:

– Я люблю тебя. Я так люблю тебя. Так...

Он помогал санитару нести Зубра в машину «скорой». Зубр лежал на носилках, как старый рыцарь или древний святой, будто его уже несли с почестями хоронить. Бес пощупал ему пульс. Пульс нашелся, и Бес внезапно развеселился, стал весь горячий, как пьяный. «Выпить бы, выпить бы, водки бы сейчас, холодной, ледяной, да!..» Когда носилки погружали в машину, он оглянулся. Через разбитое стекло увидел: пришли милиционеры, набежали люди, и копошатся в зале, у разбитого окна, и руками машут, и выкрикивают что-то.

Бес подумал: нам повезло.

Нам всем страшно свезло.

Зубр – жив. Он – жив. Человек из Питера – жив; и все им передал, что ждали.

А Нью-Йорк? Что Нью-Йорк? Ну, летит этот перец в Нью-Йорк. Он тоже когда-нибудь полетит.

На каменном заборе автостанции около его дома пацаны написали аэрографом: «ЛЕТОМ ЛЕЧУ В АМЕРИКУ!»

Все вранье. Ты не полетишь. И никто не полетит.

Полетит тот, у кого много денег, так-то.

Трясаясь в рвотном брюхе «скорой», Бес всунул в рот сигарету, но не закурил. Так сидел, тряся, держал Зубра за руку. Пульс, бейся, бейся давай. Не прекращайся. Довезут. Спасут.

А у его мачехи сынок, вроде как его сводный брат, от другого отца, не от его, он и видел-то его в жизни всего два, три раза, чеснок такой форменный, глазки ясененькие, мордочка чистенькая, выхолненный знайка такой, зайчик-побегайчик, учится сейчас в Нью-Йорке, да. В Нью-Йорке. В университете. На доктора учится. Ну чеснок натуральный. До-о-о-октор.

– Доктор... фон Гон-Гаген, – сказал Бес и перекинул сигарету языком из угла рта в другой. – Доктор... Лектор. Зубр! Ты не умирай. Мы с тобой в Нью-Йорк полетим. И там, в аэропорту... в Джей Эф Кэй... знаешь как оттянемся?! Зубр! Не знаешь даже! Там ведь можно жить, в аэропорту-то. Там – можно ночевать. Мы будем там ночевать... спать... покупать ихние говенные сэндвичи или что там еще... и с их мыльным теплым пивом – м-м-м!.. за милую душу... А еще... будем там девочек снимать. Мулаточек... Знаешь, какие мулаточки красивые? Не знаешь. – Будто он сам знал! – Там ведь весь мир толчется, не то что здесь у нас... провинция... – Он зло, нарочно разжевал сигарету, и табак облепил ему язык. – Весь мир, понимаешь!.. – Сплюнул. – Весь – мир... А потом, из аэропорта, каждый день, мы будем ездить в Нью-Йорк... и смотреть на него... на небоскребы эти противные... и гулять по нему... В Сэнтрел Парк пойдем... говорят, там белочек народ прямо из рук кормит... И вообще, Нью-Йорк, это же классно! Он уже наш, Зубр, говорю тебе, он наш... Зубр... Эй... Ты не спи, давай, давай, просыпайся...

Он тряс его за руку, а машина тряслась, катилась вперед.

Окошечко в кабину водителя открылось, и врач, вывернув кудрявую крашеную голову назад, остро блеснув алмазом сережки, спросила Беса:

– У пострадавшего паспорт с собой? Полис?

В кабине водителя мяукнул котенок.

Санитар вез домой котенка. За пазухой.

– Тихо, кисенок! – засмеялся санитар и сказал врачнице радостно и гордо: – Ты гляди, кусает меня за палец! Уже – хищник! Британец. За сто долларов купил!

Бес ничего не слышал. Он держал за руку Зубра и тихо, настойчиво говорил ему, упрямо, тупо, монотонно:

– Ну давай, давай, давай, просыпайся, давай.

Смерть Кота

Каждой ночью бился в стены
Звал кого-то снилась стая
Зверь впервые так растерян
Зверь впервые умирает

Сжало сердце странной болью
Негде скрыться от удара
Беспощадною рукою
Ночь свободу вырывала

Он смотрел в глаза с тоскою
Замирал борясь с отчаяньем
Я такой же я с тобою
Зверь ответил мне молчаньем

Осип Фуфачев (Бес), группа «Черный дождь», «Зверь»

Пушистая шерсть, и черные полосы поперек, и глаза хищные, зелено-ночные, а рожа добрая, добряк, добрее не бывает. Шире варежки рожа; пух на щеках торчит, как нечесанные бакенбарды; а когда зевает, розовый шершавый язык заворачивается в смешную розовую трубочку, в такой ресторанный завиток ветчины.

Глаза горят! Зеленым фосфором, подземным ужасом, веселым хулиганством...

Любовью, любовью к нам, людям, горят-пылают.

И не мяукал – разговаривал: длинно, витиевато, вот так: мурн-мряяууу-мрак-мрак-маа-ауа!.. миаааууу... мр-р-р-рнн-ах...

Будто речь толкал. На митинге. Или в церкви проповедовал.

Кошачий Бог, отчего ты его не спас?

Или просто его время пришло?

Нет. Не пришло.

Мы его сами убили.

Кота звали Марс. Марсик.

Он появился на свет у нас дома.

Под кроватью. Его наша кошка родила.

Кошку мы нашли на улице. Она была еще котенок. Котенок бежал по мосту через Почаинский овраг, маленький пушистый бело-рыжий комочек, и подбежал близко к краю, и вдруг сорвался, стал падать – и только коготочками передних лап за край моста зацепился! Я кинулась, подхватила котенка: вовремя. Он дрожал мелко, будто сильно замерз. Муж стоял, смеялся, смотрел на меня с котенком на руках. А тут подошел знакомый художник, Серега Ледков. Он тоже заржал, вытянул измазанный краской палец и воскликнул: «Эх, ребята, с пополнением вас! Котик в дом – прибыль в дом! Берите! Без раздумий! А красавец какой! Трехцветный!»

Мы принесли трехцветного котенка домой.

Да у нас дома-то и нет, живем мы в мастерской. Муж у меня художник. Очень хороший художник. У него картины живут, плывут, как лодки, светятся, как самоцветы. И мне кажется, все вокруг слепые, и его картины в упор не видят.

Что нужно, чтобы прозреть? Операция? Чудо? Воля?

Или – другое время и другие люди?

Муж мне говорит, когда ляжем спать, прижмемся друг к другу в холодной комнате, под старым одеялом: знаешь, а так все художники жили. Всегда. И мы – не исключение. Это просто судьба такая. Его... надо отработать.

Что, кого его, кого отработать, шепчу?

Счастье. Счастье быть на свете художником, отвечает. И обнимает меня теплой рукой за плечи, трогает, как чистый холст, живот. И я закидываю ему руки за шею и прижимаюсь к нему.

Мы греем друг друга теплом своих тел, и мне кажется, на нас, сверху, лежит не легкое, вытертое временем одеяло: лежат развернутые, закрашенные и чистые, грунтованные и негрунтованные холсты.

А за окном, низким, почти над землей, – ночной грязный снег, цветные звезды в ледяном небе.

Живем в мастерской, уже много, очень много лет... а квартиры все нет, и вряд ли будет. У нас миллионов рублей нет, чтобы квартиру купить.

Среди красок живем, банок и тюбиков, среди запаха скипидара и лаков... среди холстов, завернутых в рулоны, среди бумаг и картонов. Среди подрамников и старых рам: денег нет на новые. У меня отец тоже был художник, от него остались старые работы, они выпадают из старого багета, как старые зубы. Все шуршит, падает, летит, горит, дырывается, плавится. Мастерская. Старая мастерская.

И наша жизнь горит и падает. И рвется, рвется, как бумага. И разрывается, как холст под острым мастихином. Под пьяным ножом.

Принесли, значит, котенка домой. «Котик какой отличный! – завопил сын, Осип, котенка увидев. – Грудка беленькая!»

Ну, назвали котенка Шуркой. Александр – гордое имя.

Александр Македонский. Александр Пушкин. Александр Третий, царь. Круто!

И вот растет, растет наш котик. «Шурка, Шурка!» – кличем его. Отзывается. На зов бежит. Аккуратненький. В тазик писает. Красочки не опрокидывает, тюбики не грызет. И, странно, нежненький такой, изящный. Однажды мы ему взяли и под хвостик-то, любопытствуя, заглянули. И что же?

«Мать твою, кошечка», – досадливо сказал муж. И добавил: «Если бы курил, то закурил бы. Ведь ты даже не понимаешь, что нас ждет!»

«Кошечка, ну, ведь можно это самое, прооперировать», – осторожно сказала я, уже зная ответ.

«Никогда! Все должно жить истинно! Как живет! И мой... моя Шурочка будет нормальной кошкой! Она будет трахаться с котами и рожать котят!» – сердито и весело возгласил муж.

Хорошо, что другое имя давать не придется кошке, Шурка – это ж ведь и бабенка тоже, не только мужичок, грустно подумала я – и весело рассмеялась.

Ну понятное дело, бабеночка эта в возраст вошла – и выпрыгнула из форточки на улицу, и соседский кот, по имени Матвей, рыжий, вечно шатающийся, как пьяный мужик, прямо перед нашим окном ее покрыв. Шурка визжала на всю округу.

Понесла. Живот Шурочкин раздувался, я старалась кормить ее получше, повкуснее. Покупала ей в магазине не краю оврага – мы смешно звали магазин: «башмак» – баночки такой специальной кошачьей снеди, «Китикет» называется, и еще «Вискас». «Ваша киска купила бы

«Вискас»! – сладким голосом вещала из телятника реклама. «Ешь, ешь, Шурка, жри давай, – приговаривала я, – ты должна родить отличных котят, героев...» У кошки трясся от жадности хвост, я глядела на ее ходящие ходуном, широкие, круглым бочонком, бока.

Этот день настал. За окном, как сфинкс, тоскливо сидел рыжий Мотя. Шурочка долго металась по мастерской, опрокидывала банки с красками, крапак и индиго лились на дощатый пол, скипидар шибал в нос, муж тихо матерился. Кошка нашла себе родилку за старым диваном. Обивка дивана была вся в дырках: это Осип и его дружки курили, сигаретами прожгли.

Я слышала, как кошка, угнездившись за диваном, слабо кряхтела в тишине.

Потом услышала тонкое попискивание.

Заглянула осторожно за диван. Кошка умиротворенно лежала на боку, подняв высоко лапу и защищая ею два живых комочка. Один комочек был рыжий, другой – черный.

Сколько у нее там, нервно спросил муж, не рискуя заглядывать.

«Два, кажется», – робко ответила я. Поманила мужа пальцем.

Мы оба склонились и нежно смотрели на кошку и на котят, как на святое семейство.

Подошел Осип. Просунул голову между нашими головами и тоже смотрел. Довольно сказал: «Если черный – это кот, мой будет. Я назову его Черный Мамбо».

Тихо, еле слышно чмокали котята.

Муж пошел в «башмак», купил водки маленькую, 375, мы сварили пельмени, посыпали их черным и красным перцем и отметили это дело.

Ну и вот. Котята пищат. Мы на них смотрим, на слепых. Настал день – они прозрели. Глазки сверкают: живые ягоды в шерстяных кустах. Шурка оказалась мамашкой очень заботливой. Вылизывала их все время. Кормила без перерыва. Бесперебойный, упорный насос жизни. Муркала над ними, причитала, фырчала на разные лады: поучала, учила жизни.

Жизнь, да... все маленькое, слабенькое, первенькое, что человечек новорожденный, что тварь любая, хочет жить. Жить! А не умирать.

Я вот не представляю себе, как топят котят.

«А как убивают людей, вы не представляете?!» – страшно, весело смеялся Осип, поблескивая желтыми от страшного курева зубами.

Я этого тоже не представляла. И не хотела, главное дело, представлять.

А вот они все – хотели. Дети. Наши дети.

Осип – не мой сын. Я его вырастила и выкормила. Когда его родная мама, первая жена моего мужа, умерла.

Умерла она тяжело и плохо, в далеком сибирском городе, на лютном севере, одна, дикой зимой, мороз под пятьдесят, в плохой больнице, под старый Новый год, когда уколы медсестры не хотели даже за деньги делать, а хотели пить, гулять и веселиться, от души, по-сибирски, с самогонкой, груздями солеными и чиром копченым. Умирала страшно, одиноко, глухо, лучше в тайге на зимовье, рядом с голодной собакой, умереть. Я часто видела такую картину: она лежит, лицом вверх, глядит в потолок, губы закусила от боли, а за стеной, далеко, в ординаторской, или там в сестринской, не знаю, гудят, поют, стучат, танцуют, каблуками об пол, и опять выпивают и голосят.

Старый Новый год! С тех пор муж невлюбил старый Новый год. В старый Новый год он покупал водки, большую бутылку, ноль семь, и выпивал ее один, и закусывал мало, чтобы тяжело и крепко опьянеть. Нет, не один. Я тут была, с ним. Я немного помогала ему, толкалась возле стола со своей маленькой стопочкой. Он плескал мне в стопку водки, зажмуривал глаза и цедил: «За всех наших... покойных!..» – и опрокидывал стакан в рот стремительно, будто пожар внутри заливал.

У мужа отец его, сибирский казак Осип Ефимыч, тоже умер в старый Новый год.
И он поминал отца и первую жену вместе, в один день. Вернее, в одну ночь.

Маму Осипа звали Гуля. Гулю из большого сибирского города отвезли, в гробу, в КАМАЗе, в другой сибирский город, маленький, скорбный, тоскливый, на высоком берегу Ангары, и похоронили на старом заснеженном кладбище. Муж и Осип тогда там были, сами ее и хоронили. Вернулись оттуда мрачные, убитые. Долго не могли отойти. Осип научился тогда пить водку. Помногу, как взрослый. Муж бросился писать картины. Живопись развлекала, спасала его. Написать картину – тяжелая работа. Хуже иной раз, чем дрова пилить и рубить.

Он пилил подрамники, рубил ножницами холсты, рубил, казак, головы нарисованным всадникам, взрезал мастихином рыбе брюхо белого, свежего полотна. Вынимал из брюха живую, черную, сверкающую, кровавую икру жизни. Окунал в нее лицо. Пил скипидар стаканами. Закусывал красным краплагом. Занюхивал грязной тряпкой, которой кисти вытирал. Он жил, он хотел жить, он писал жизнь, писал, как сумасшедший, рыб, птиц, коней, и потом, отпрыгнув от холста, кричал: «Это все никому не нужно! Меня никто не понимает! Кто все это купит?! Никто! И никогда!»

И сел на пол перед замазанным холстом.

И я вытирала ему мокрое лицо вонючей пестрой тряпкой.

И говорила ему молча: я тебя люблю, ну что ты. Ведь и мы когда-нибудь умрем. Зачем тогда плакать. Работай. Пиши. Лови рыбу. Седлай коней. Стреляй птицу. Ты казак, и сын твой, Осип, – казак. Вы у меня два казака; а я ваша баба, и нет у меня другой судьбы.

Иногда муж во сне стонал: «Гуля, Гуля...» – и метался, головой елозил по подушке, вспоминая во сне дорогое, исходя в бессознание бесслезной печалью. Я гладила его по лицу, по груди. В ночи, в тусклом свете фонаря за зашторенным окном, я видела, какие у него на груди седые волосы, какая седая борода, серебряные виски. Тусклое старое серебро. Серебряная стопка казацкая, полная зимней водки.

Старый уже мой, родной мой...

За чье здоровье выпить? За чью жизнь?

За детей, конечно.

А за смерть пить разве будем?

Помянем. Ушедших всегда надо помянуть. Они это любят.

Кошка под диваном вздыхала громко, как человек; котят тонко пищали, смешно крикали, будто не котят они, а утят были.

И стали котят расти. Подрастать.

Как все дети на свете.

Рыжий – оказался кошечкой. Его взяли наши знакомые. Богатые. Покупатели одной картины мужа. Однажды. Только раз купили, и одну – а на выставках виделись часто, такая славная, красивая парочка, бизнесмены. Прикатил на лимузине отец семейства, рослый, дородный, два золотых кольца на сосисочных пальцах, но не бычара, нет, лицо образованного человека, думающего. Щеки на воротник стекают. Как у бульдога. Улыбка радушная. «Как вы тут, ребята?» А у нас холодильник пустой. И даже хлеба нет. В холодильнике – коробка «Геркулеса» стоит одна. И все. Осип по этому поводу даже стихи написал: «Эх, Геркулес, Геркулес, ты зачем в холодильник залез!» Мы мнемся. «Мы-то? Да ничего!» Улыбчивые рожи делаем. Богатый дядька тоже улыбается сусально. «Ребята, у вас, это, никакого маленького этюдника не найдется? Для подарка». Муж аж весь просиял. Стал шарить в картонках своих. Его затылок веселый мне говорил, кричал: все, спасены от голодной смерти. Вытащил этюд, господин богатенький ногтем по засохшей краске довольно пощелкал.

Купил.

Деньги шуршали. Перебегали из рук в руки.

Наша еда. Наша жизнь перебежала.

И, когда он клал этюд мужа в сумку, я зачем-то, как иглой меня кольнули, сунулась: а вот вам кошечку рыжую не надо ли? Хорошая такая!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.